

Николай БОЙКОВ

АФРИКАНСКИЙ КАПКАН

Рассказы

Николай Бойков

Африканский капкан. Рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9023475

ISBN 978-5-4474-0384-3

Аннотация

В книге несколько циклов. «Африканский капкан» – добротная проза морской жизни, полная характеров, событий и самого моря. Цикл «Игра» – вариант другой жизни, память о другой стране, где в дебрях слов о демократии и свободе, как на минном поле – взрывы и смерть одиноких душ. Цикл «Жажда» – рассказы о любви. Подкупает интонация героев: звучит ли она в лагерном бараке или из уст одесситки и подгулявшего морячка. А крик героини: «Меня томит жажда радоваться и любить!» мог бы стать эпиграфом книги.

Содержание

Жажда	5
Точка. Точка. Запятая	5
Глупенький	14
Выжить!	27
Ему снились маки...	43
Жажда	53
Чудо мое	66
Бетта	81
Игра	94
Игра	94
Конец ознакомительного фрагмента.	112

Африканский капкан

Рассказы

Николай Бойков

© Николай Бойков, 2015

Редактор Александра Быстрова

Создано в интеллектуальной издательской системе
Ridero.ru

Жажда

...Меня томит жажда... Радоваться и любить!

Точка. Точка. Запятая

Старик занимает одну комнату в трехкомнатной квартире пятиэтажного дома. В двух других комнатах живет молодая семья – муж, жена и их четырехлетняя дочь Танечка.

Каждое утро, выпив неизменный стакан чая с кусочком сахара, садится у окна. Последние пятнадцать лет он находит особое удовольствие – смотреть на жизнь.

С высоты девятого этажа хорошо видны и окраина города, одноэтажная, огородная, с заборами и сараями, многоцветными лоскутиками на бельевых веревках, и коричнево-полосатый склон совхозного виноградника, ошестинившийся рядами кольев, и аллея тополей – длинная стена сверкающей листвы, накрытая плющом и светом, или дождем. Как смело тополя уходят в небо! А голая земля проселочной дороги тонет в луже.

Сараи, виноградник, тополя – все наклонилось и сползает к морю, но кто-то остановил их веселым и категоричным криком детской игры: «Замри!». И не замерло только море. Оно гудит, как полчище варваров перед штурмом, катит

на приступ, выстреливая из прибора окатанную гальку, леденящие дробинки острых брызг, опутывающие кружева пены, тараном из тысячи «и-э-эх!» ударяет в обессиленный, осыпающийся, оседающий пыльными обвалами обрывистый берег.

В комнату старика безбоязненно заходит и привычно влезает ему на колени четырехлетняя Танечка. Он гладит ее по голове. Ей интересно, что он увидел в окне. Она сплюсчивает о стекло любопытную мордашку, катает со щеки на щеку: вправо – влево, влево – вправо. Стекло скрипит. С крыши над головой срывается кубарем круглый воробей. Замирает на уровне подоконника, отчаянно отбиваясь крыльями от неба. Забарабанил. Отвесно упал на уровень еще двух этажей. Что-то кричит оттуда.

От дыхания старика и девочки на стекле появляется матовый налет. Старик вдруг отстраняется. Рука его ищет руку девочки, поднимает ее, завладев маленьким пальчиком, водит по стеклу:

– Точка, точка, огуречик, – говорит тихо, – вот и вышел человечек.

Девочка упрямо вырывает руку:

– Сама! – Дышит. Водит пальцем. – Точка, точка, огуречик.

Старик слышит, как на кухне, в который уже раз, муж успокаивает жену: «Он сам говорил, что у них все в роду живут до восьмидесяти пяти. А ему уже восемьдесят четы-

ре. Потерпи... – Да он ничего, но знаешь, все сидит и сидит у своего окна. Бррр...»

– Дедуля, ты куда смотришь? – спрашивает Танечка.

– В окно.

– А что там?

– Что вижу.

– Зачем?

– Чтобы помнить.

– Зачем помнить?

– Чтобы любить...

...Он помнил дом на краю аэродрома. Дом был построен в войну саперами, весь деревянный (непривычно для этих мест, где и сейчас строят исключительно из дикого камня), с деревянную же тесовой крышей. Непривычность материала и отдаленность от поселка и дороги объясняют, видимо, и отсутствие жильцов, когда, после войны уже, расформированная воинская часть передала дом сельсовету. Боялись воров, пожаров, дождей. Бесхозный дом быстро остался без рам в окнах, как близорукий без очков. Без дверей. Печку разобрали и вынесли по кирпичику. И долго торчала худая железная труба в шляпке, стыдливо прикрыв лохмотьями крыши и стен пустоту украденного тела.

Старика со старухой вселили в этот дом зимой, перед Новым годом. Их прежняя квартира в поселке была востребована под какое-то учреждение.

По утрам старик ходил вокруг дома, трогал размякшие доски стен, вздыхал и повторял одно слово: «Ничего... ничего...». И трудно было понять, что именно он в себя успокаивает и чего ждет, то ли весны, оттепели, то ли смерти, то ли чего-то еще. Чего? Может увидеть нас: меня, вас, его? Но важность ожидания придала значение тысяче мелочей, которые он выполнял теперь, точно обряд. И которые помогали ему жить дальше.

Упираясь, как муравей, буквально по листочку и веточке стаскивая в одно место, он ежедневно убирал сад – десяток деревьев, посаженных неизвестно кем. При этом он низко наклонялся к земле, будто кланялся или будто глазам его было трудно разглядеть и выбрать тот единственный посылный для него лист из сотни ежедневно осыпающихся. Его галоши, ватные штаны, ватная куртка, шапка – были для всех оберегающей упаковкой с надписью: «Не толкать!». Он мог затратить полдня, а то и день, на то, чтобы, пробираясь меж густыми зарослями терновника, добраться, наконец, и убрать обрывок газеты или смятую пачку из-под сигарет, бог весть откуда занесенные и застрявшие там после ветреной ночи. Отрезать сухую веточку на акации, смести снег с крыльца, разложить под кроватью картошку, чтобы проросла на посадку, – все это долго, утомительно, мелко и обязательно, как ежедневно читать обе стороны календарного листка.

Потом ожидание приняло другую фирму. Он стал нетер-

пелив. Возбудим. Горяч. Жене он объяснял это неожиданным вторжением в тишину их жизни массы людей, шумом бульдозеров и машин, запахом бензина и бетона, визгом механических пил, смехом девчонок, матом шоферов и прорабов – началось строительство какого-то большого объекта. Лес положили на землю, как вечерние тени. Бульдозеры содрали траву и кустарник, и земля сжалась и покраснела, насильно раздетая. Бетонные капли вошли в ее тело. Потом вдруг все кончилось. Стало тихо. Прошел год. Потом опять осень. Зима. Весна началась дождями. Ржавели куски металла. Светлели черные пятна солярки на просеках. Рубчатые следы гусениц зарастали травой. Красную землю оплодотворяли сбегаящие по склонам молодые ручьи. Лопались почки. Шелестел ветер. Скрипели, просыпаясь и потягиваясь, мощные ветви. Птицы кричали, кричали, кричали. Суетились над гнездами, над деревьями, над облаками, над еще замурованными муравейниками. За их суетой наблюдал первый, только что раздвинувший влажную листву голубыми ладонями, подснежник.

Строители вернулись через пять лет. Старик помнит, как апрельским вечером проурчал мимо калитки, мигая подфарниками, зеленый газик. Хлопнул двумя дверцами, дуплетом. Двое в плащах и сапогах вышли на пригорок, прошли до леса, что-то долго высматривали в сумерках, вернулись к дому. «Ну, здравствуй, хозяин! – Крикнул тот, что постарше. – Принимай на ночлег!»

И все началось сначала. Старик никогда не вникал в эти понятия: первый проект, второй проект, дополнение к проекту, изменения проекта, смета, объем... Для него было достаточно того, что он видел, как бетон заливали в землю, а потом выковыривали из земли, как в стенах прорубали окна, а потом замуровывали. Как людей заселяли в общежитие, поздравляли, завидовали. Общежития строили современные, со всеми удобствами, но в коридорах стояли ведра, корыта, тазики с водой, горели керосиновые лампы, топили буржуйками. На холодные трубы парового отопления складывали одежду, детские игрушки, или, на Новый год, сосновые ветки. Люди приезжали и уезжали. Приезжали веселые и уезжали тоже веселые. И те и другие завидовали друг другу.

По одному из проектов дом старика подлежал сносу. Землю вокруг дома – сад, огород, сараи – давно срезали, так что дом остался как на полутораметровом постаменте. Внимательные строители сделали удобную лестницу с перильцами, но старик со старухой почти не спускались со своего островка. О хозяйстве они не жалели. Корову пришлось зарезать через полгода после возобновления строительства, ибо пасти теперь надо было гонять далеко, а пустишь одну – вечером придет уже кем-то подоенная. Куры исчезали сами собой. Сначала исчезали только яйца, а потом исчезли и куры. Но старики не обижались, они понимали, что молодым хочется и пошалить и поесть, что, как говорил начальник по-

старше: «Лес рубят, щепки летят». Иногда старику было даже интересно, чем кончится это строительство, что все-таки будет построено, кто останется жить здесь. Он спрашивал об этом жену. «Мне уже все равно», – шептала она. Спрашивал начальника постарше. «Все! Все построим! – Зачем-то кричал и обязательно хлопал старика по плечу. – Увидишь, хозяин. А тебя с женой переселим в новый дом. Со всеми удобствами. А хочешь – хоть сейчас в общежитие?». Но старик не хотел. И жена не хотела.

Прошло еще четыре года. Завод, а это оказался завод, начал давать продукцию – лепить и обжигать кирпичи: «А ты, старик, сомневался».

Старики так и жили в своем доме на островке. Вокруг него, на полтора метра ниже, лежала огромная бетонная площадка. По ней шуршали машины, тянулись рельсы, катался на двух ногах, как мальчик на роликах, высокий П-образный кран, цвели простенькие цветы на круглых клумбах, стояли шеренгой портреты передовиков, трехэтажной солнечной батареей отражало солнце здание из стекла и бетона.

Старик знал, что в городе уже построены два пятиэтажных дома для строителей и рабочих. Но начальник постарше все объяснял:

– Понимаешь, дед, люди работали в поте лица. Приехали сюда черт знает откуда. С семьями, с надеждами. Они молодые. Им все невтерпез, им все положено. Они знают законы – вот вынь и положи им ключи от квартиры. Варвары.

Скандалисты. Кляузники. Потерпи. Мы вас в девятиэтажный вселим. Первый девятиэтажный дом в городе!

Старику было безразлично. Что ему эта квартира? У него было много дел. Он ухаживал за больной женой. Она уже не вставала с постели. Он ходил в столовую, которую открыли в стеклянной батарее. Приносил оттуда немного супа, каши, котлет или рыбы и обязательно пакет молока. Пакет он выбирал долго, не обращая внимания на ворчанье молоденькой продавщицы, перекладывал бумажные пирамидки, подозрительно осматривая каждый пакет. Наконец, выбирал, платил деньги и шел мимо застывших фото передовиков, мимо солнечных стекол витрин, за которыми показывала на него пальцами смешливая продавщица: «Этот старик совсем чокнутый. Другой бы давно получил квартиру и еще денежную компенсацию. Чего он ждет?» – Старик не слышал. Он думал о солнце. Ждал лета. Летом жена обязательно поднимется, будет выходить на крыльцо, сидеть, греясь...

Прошло уже три года, как он один.

В комнате на девятом этаже он отчетливо помнит переваливающийся хруст птичьих шагов на весеннем снегу. Запах прелой листвы. Защитно извивающегося червячка под тенью прожорливой птицы. Крик вороны, от которого замирал лес. Помнит жену... Но прошлая жизнь осталась позади, как отплывшая за окно вагона станция. А он не покинул поезда. Остался. И опять у окна. И глаза его не устают рассматривать рвань беспризорных листьев на взрыхленной земле, бегаю-

щие пятна кур меж сараев, чьи-то маечки и чулки на веревке, газету, летящую с обрыва в море. Он смотрит и никак не на-
смотрится. Никак не устанет. Будто не может надышаться.

С кухни опять слышны голоса: «А где Танечка? – Опять у старика сидит. – А он что делает? – Что-что, в окно смотрит. У него и занятия другого нет. Только комнату занимает. Когда же это, наконец, кончится? Когда он оставит нас в покое? – Ну, что ты так? Чем он тебе мешает? – Мешает... Таня! Таня, доченька моя, иди сюда!»

Таня слезает с дедовых коленей. Машет ему ладошкой, улыбаясь. Уходит.

Он слышит, как она громко рассказывает на кухне:

– Мы с дедушкой рисовали на окне. Я сама могу. Точка, точка, огуречик... И еще могу. Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Меня дедушка научил, потому что эта рожица смеется. А когда смеется, то – лучше.

Глупенький

Сегодня ему двадцать два года. Его новая меховая куртка украшена орденами и медалями, какие у него есть: которые покупала мать, которые менял у дядек и пацанов, которые делал сам из разноцветных тряпочек, флотских пуговиц и вырезанных из жести парусников. Он заслужил все в морских путешествиях и сражениях. И море теперь принадлежит только ему, и плещет и кувыркается у ног его счастливее, чем портовый щенок Клотик.

Громадные черные глыбы травянистых прибрежных камней китовыми спинами выныривают из пробегающих волн. А чайки хохочут и дразнят их, и, пугливо взлетая, прячутся за низкими тучами, как цирковые шуты за занавес.

Сегодня его праздник. Его берег и его море. И сосульки, и камни, которые с каждым ударом россыпью скатываются вниз, в море, а с накатом новой волны снова вбиваются в берег, в искры и звон, – для него. «Для меня-а! – кричит он. – Я – геро-ой... моря-а!» – добавляет, хрипя и приседая. И эхо утопает, как берег в набегающую волну. Все замедляется. В секундной пустоте между гребнями – убегающим белым и стремительно падающим на него сверху зеленым – вода исчезает, всасываясь в свистящие водовороты, в мелькнувшие стебли морской травы, в кипящий песок... и бесцветные птицы успевают упасть и взлететь, выщипнув

ошалевшую рыбу из пузырячатых глаз грязной пены.

Ноги скользят и разъезжаются по мокрым обледенелым камням, проваливаются в коричнево-черные заломы морской травы. Отдельные водяные обвалы, алчно заглатывая берег, дотягиваются и до него, мгновенно обвивая и облизывая голенища высоких резиновых сапог.

Сердито шипит, оседая, выдавливая из-под себя убегающие струи, пена. Какой-то кусок дерева или пробки долго летит на гребне волны в берег, исчезает и появляется вновь уже далеко от этого места, бумерангом возвращается в море.

Он бредет по бесконечному нагромождению веток, досок, деревьев, стеклянных и пластмассовых бутылок, мазута, тряпок, которые в невероятном количестве остаются после каждого шторма на берегу и потом исчезают неизвестно куда так же неожиданно, как и появились. И эта кошмарная полоса берега и прибоя дразнит и манит щедрыми осколками жизни: флакончики и пузырьки с таинственными именами и знаками, детские игрушки и обувь, полные следов океанского странствия, рыбацкие кухтыли, как запамянные в стекло солнечные брызги, просто ветки и камни, или обрывки канатов, или натруженные обломки корабельных весел – все мокрое, отяжеленное морем, перламутровыми нашлепками мелких ракушек, – все это появится, полежит на берегу, дразня и издеваясь над нашим покоем, и, однажды, исчезнет, подхваченное новыми штормами и ветром.

Он вырос у моря и привык к тому, что оно всегда рядом.

И волны далекого детства, подбрасывавшие тело его выше обрывистого берега или проглатывавшие и переворачивавшие в мутной пучине, пугали лишь на секунду, пока снова не вспоминал, что это море, одно только море...

Какой длинный февральский день! Голубое за фиолетово-синими тучами солнце почти не отрывается от пляшущих гребней, низко плывет над морем мишенью для дождя. Двухминутный порыв как из душа. Грохот прибоя как будто бы тише. Промокшие ноги не ощущают уже холодных прикосновений воды и пены. Серый многоэтажный и многоточечный поселок медленно растет перед глазами, словно чудовищное животное показывает свои более и более крупные и грязноватые зубы.

На бело-оранжевом от льдистого снега и яркой ржавчины голом причале стоит местный капитан Петр Вольнов. Бородатое лицо его похоже на перевернутый желудь. Издалека. Вблизи – кожи на лице многовато и она сбегает множеством смеющихся морщин, винтом закручивающихся в коротко стриженную бороду на открытой и красной шее. На ветру кажется, что фигура и вся его мешковатая одежда, и пружинки морщин вот-вот расправятся и взлетят. Но он жует вяленую тюльку, как семечки, разглядывает приближение «море-героя с медалями», усмехается, и плюется крылатой шелухой: «Красота – это море, паря! – кричит восторженному медалисту. – Его умный мужик придумал! Для простоты понимания. Чтобы не в очереди за колбасой пролетела жизнь.

Ищи свое море, паря... Ты помнишь?..»

Сам капитан Вольнов помнит хорошо, как шестнадцатилетний пацан, еще «не герой» и еще без медалей из жести, попал к нему на портовый буксир «Верный» – низко сплющенный утюг с высокой черной трубой, торчащей прямо из палубы за деревянной шифоньерообразной рубкой. Тесная надстройка еле вмещала рогатое колесо штурвала, беспардонно вдавившееся, за неимением иного пространства, в белый с золотыми пуговицами кительный живот кэпа.

На траверзе Дообского маяка гудел норд-ост. Утюг уходил в волну как подводная лодка. Но шифоньер вдруг обнаружил свою дубовую крепость и завидную плавучесть. Небо над берегом было оранжево серым и смазывало очертания гор и города. Море взрывалось вихрями пены и убегало из-под борта сверлящими глубину сине-зелеными водяными ямами. Нервно метался в этой пустоте ветер. Взвизгивал пропеллером оголявшийся винт. Догоняла, тяжело наваливаясь на фальшборт, цепкая волна. В миг – задыхался из-под растекающейся по палубе воды двигатель. Под ногами тряслось и скрежетало, а из трубы вырывалось горячее дыхание.

В мокрых сапогах, в мокрой тельняшке поверх брюк, стоял пацаненок в рубке, зажатый между переборкой и плечом Вольнова и, носом к стеклу, снизу вверх, пытался проследить за полетом серого одинокого в небе орла, уже отнесенного ветром от берега.

Кэп на секунду наклонился, следя прищуренным глазом,

и снова выпрямился:

– Не дотянет...

– А как же?... – в глазах молодого стояли слезы.

– Что как же?! Это же море, паря! В нем знаешь, какая сила! Ого-го-го...

Серые крылья касаются волны и бьются отчаянно, не желая погружаться.

Капитан отводит глаза. А молодому матросу кажется, и он уже готов весь, молодой, гибкий, рванувшись из рубки и хватывая крылья из очередной водяной ямы, разогнуться над планширем и подкинуть, ловко взметая в небо, кричащую птицу... Ох, молодость и ее бесконечная вера в собственные силы! Кто из нас не совершал этих мысленных подвигов: я выплыву с тонущего корабля... я выживу на необитаемом острове... я смогу, сумею, спасу...

Орел еще дважды взмывал вверх, пытаясь дотянуть до мыса, но, опрокинутый ветром, только над самой водой, едва успевая расправить крылья, уходил вдоль берега низким экономным полетом.

– Воробей бы давно на трубу сел, а этот, видишь ли, гордый! Строп-перестроп... Орел, словом... – Кэп выдвинул подбородок и почесал горло, – или просто форс держит. Моря не знает, дурень...

Форштень высоко задрался, и вода побежала с носа на корму, освобождая от голубого ярко-белую с черными смоляными бороздками деревянную палубу.

Море будто ушло. Форштевень полз в небо. Матрос посмотрел на капитана, но вокруг шевелящихся в насмешливо-ругательном или песенно-любовном шепоте тонких губ была привычная гримаса: «Соображай, паря!» – И палец у виска для наглядности... Вдруг стало темно. Солнце пропало. И небо пропало. Буксир вползал в чудовищную по обе стороны рубки вращающуюся воронку. Стало тихо. И ветер сюда не проникал. В открытые двери рубки матрос вытянулся на руках, повисая над палубой. Под бортом журчала вода, пропуская посудину в прозрачную глубину. Две бесцветные горы поднимались сзади и спереди. Между ними вверху небо казалось бледным просветом. Мачта свисала с неба.

– Дядя Петя-а-а!

– Не шуми. За мыс вышли. Хочешь подержать? – кивнул на штурвал и потянулся в кулек за вяленой тюлькой – тема насмешек, клеймо рыбацкого происхождения и, возможно, причина не сложившейся морской карьеры.

Матрос устыдился своей растерянности и, вместо ответа, только сглотнул комок в горле.

Гора впереди стала уменьшаться, потом зеленеть, потом белым взорвался гребень, и покатилося, купаясь в пене, как мячик по волнам, солнце. И опять все провалилось и стало темно. На мачте сидел, широко расправив перистые крылья, орел. Громадные крылья – как руки танцовщицы – цепляются за воздух.

– Если он упадет, я прыгну за ним в море, дядь Петь! –

кричит молодой и восторженно скалит зубы в улыбке...

– Паца-а!.. – но тело, подхваченное волной, уже крутится в водовороте, бьется о борт, всплывает над ушедшей в волну палубой и исчезает. Белый китель мелькнул из рубки, руками вперед провалился в волну и догнал красное. Корма покатилась с волны лагом. Мачта легла на гребень. И крылья побежали по нему, страшно крича, и, не сумев оттолкнуться, пропали... Расторопный механик разворачивал «Верный» на обратный курс...

– Здравствуй, орел! – насмешливо кричит «герою-матросу на зимнем пляже» Петр Вольнов, пьяно пошатываясь навстречу. Ржавый причал за его спиной, в пене бегущих волн, как мостик корабля.

Прошло уже много лет после того, как он выловил пацана, локтем под горло подхватив его окровавленную голову. Потом их подобрала ребятя с сейнера, но спасенный затравленно на всех вскидывал руки, как подбитая птица. «Совсем без соображаловки пацан остался. Пришибло. Тьфу, господи прости, кого тащил?! Спасибо, не даром, – ухмыляясь и тяжело дыша, тянул руками к себе белую эмалированную кружку со спиртом. – Эх, строп-перестроп, Люся девочкой была... За здоровье скорой помощи! И за безголовую молодость»...

– Стой, паря! Покажи свои медали, герой...

Парень ему подчиняется. Они садятся на большую черную корягу, лицом к морю. Вольнов достает начатую бутыл-

ку водки и протягивает:

– Пей, бестолковка! – Зла нет в его голосе и «герой» пьет, хотя ему нельзя, наверное.

– Тебя тоже по голове ударили? – спрашивает.

Старый капитан смеется громко и весело:

– Молодец, паря! А все тебя дурачком считают. Я еще тогда говорил: в жизни все не зазря. Хоть выпить с дураком, когда пить не с кем. Ох, зачем ты так любила, Люсь-ся?! – Он запрокидывает голову и буквально переливает из бутылки, не касаясь губами горлышка. Водка вытекает, булькая и струясь, прямо в открытый рот. Мимо. По бороздкам морщин в рыжей шкиперской бороде к жадно дышащей и грубой шее. Ноздри его раздуваются, но лучики морщин вокруг прищуренных глаз бегают, кривляясь или смеясь, как у клоуна:

– А хотел бы и я получить такой удар по бестолковке, от которого в мозгах остается одно детство. Хорошо тебе жить. У тебя только море. Вся душа для него. Дай тебя обниму, дуря! Ведь душа для чего? Чтоб топтали ее? Чтобы мучили? Чтобы тот, которого я в глаза не видел, мне визу закрыл?! Нет! Для гордости душа! Понял? Мне визу закрыли – а куда я без моря?! А как мне – без моря?! – Глаза его вдруг открылись и стали самыми важными на всем его большом и подвижном лице. Они кричали – глаза! Лицо – болело. Губы – шептали: «А каково без меня – морю?! Вы спросили его? Ему аглицких слов не надо. Ему родословная и ан-

кеты мои – не надобны. Оно – море – оно меня на руках вынянчило. Я его настроение по запаху, как ребенок по материнскому молоку, чую... Кто работать пойдет? На ком флоту держаться? На кого меня променяли – на шмоточников? Не горю-уй, Лю-уся... А ты помнишь орла, пацан? Ты помнишь?! Флот уже не орел... Море мне надо. Море! Ты меня понимаешь?! У тебя ведь была закваска. Морсковатость была у тебя, геройский ты мой... Ты орла спасал, паря... Эх, что говорить...».

Он сплевывает, и плевок его остается замерзать на ледяной поверхности большого серого камня. Встает и идет по хрустящим, брызгающим ледяными корочками веткам к воде. Набежавшая волна вдруг высоко обнимает его тело, пытаясь свалить с ног. Он нелепо раскидывает руки. Устоял. Волна отступила, унося грохот камней и оседая пеной. Капитан громко смеется вслед:

– Шалишь, море?! Шали-ишь, ми-ило-йе... – Поворачивается и идет из воды. – Я тебе расскажу, паря... Все расскажу... – Он будто не чувствует мокрой одежды, холода стекающей воды. Подходит совсем близко, но вдруг останавливается: «А-а! Все равно – бестолковка...», – махнул рукой и пошел прочь, к поселку. Удаляясь, он похож на перекатывающуюся по ветру мокрую и измятую шляпу. Жалко его. Он идет и оглядывается, останавливаясь, машет... Пацану в мокрой куртке с медалями... или морю? Прощаясь?.. А пацан кутается от холода, морщится от привкуса водки, вспо-

минает или видит сон... Сон?

Рама упала вниз с глухим стуком, и в вагон ворвался поток ветра, свежего и сырого, как брызги моря. Я улыбаюсь. Подставляю ему лицо, шею, открывая навстречу ему, как другу, поднятую вверх ладонь. Он смеется и шепчет в уши мне мягким шорохом, ревниво сдувает со щек моих лучи солнца. Он проказник и плут. Нам приятно узнавать друг друга.

Поезд мчит меня к морю. И облака вздрагивают, упираясь в стекло, будто пытаются остановить меня.

Замки старого города, башни старых соборов и крепостей, и корабли, корабли, корабли в белом овале утренней бухты, тихо плывущие над городом.

И не терпится потрогать руками море. И, кажется, каменная лестница снова вертится меж деревьев, и зеленые солнечные пятна и тени дышат и раскачивают ее в такт ветвям. И девочка смотрит удивленно в расцвеченные солнцем листья.

И мяч огромный, весь будто из желто-голубого воздуха, лежит на траве, даже не смяв ее. И, кажется, бегу по аллее. И арочный мост отражается в воде и сливается с собственным отражением в черное глянцевое колесо. Покатилось. Направо светофор: красный, желтый, зеленый. Идите! Сквозь сито машин и мозаику стекол смеются на противоположной стороне улицы чьи-то глаза, может и не мне, но улыбкой втягиваюсь в поток автомобилей. Взлетает и скользит, переворачиваясь, серебряно-зеленый лист меж визгливыми

пинами. И булыжная мостовая горбится, как надутый ветром платок. Спешу. Тороплюсь. Боюсь, будто, что море может исчезнуть до моего прихода...

И гавань стремительно обнимает запахами, шумом и оранжевым суриком подкрашенного металла. Увеличиваются высокие борта клепаных пароходов. Гигантский портовый кран уперся одной рукой в солнце, и растопыренные ноги бессильно заскользили по масляным рельсам. Кто-то стукнулся о мое плечо. Где-то плеско и тяжело ухнула в воду и дробью щедрой и радостной рассыпалась якорная цепь. И море, не над трубами и домами, а прямо у ног моих отступило, голубое и мягкое. Живое.

Я снова возвращаюсь к морю. В такт вагонам покачивается горизонт. И тень моя в светлом окне скользит по нескончаемому откосу. И маленькой кричащей птичкой улетает в поля тишина. И упрямый, упругий как ветви цветущего дерева ветер ласкает мне руки. Треплет, тербит, манит. И снова и снова, открывая ладони навстречу ему, приветствую: Здравствуй! Мы встретимся завтра. Над синевой тесно бегущих волн. Ты разгладишь наш парус! Пусть скрипучие сходни принайтованы прочно. И приятно приветствие заскорузлых ладоней. И весомо привычное: в море пять баллов и верно, что ветер крепчает под вечер. Здравствуй! Я уж вижу, как вахтенный вытянул губы и кричит капитану счастливое: «Все на борту!». Здравствуй, море...

Становится темно. Холодно. «Я – герой моря-а... гер-

ро-ой», – шепчут замерзшие губы. Тело его дрожит. И, обнимая замерзшими пальцами холодные камни, он чувствует, как дрожит берег. И снова он слышит грохот прибоя и шум ветра. Ветер задирает на спине полы расстегнутой куртки. Ветер норовит оторвать от щеки теплый меховой воротник. Ветер доносит до него голос матери, которая ходит по берегу и зовет его. Ветер. Ветер. Ветер мешает разобрать слова, которыми он бросается, как камнями:

– Не подходи ко мне близко. Только море мне надо. Море. Не забирай мою визу и гордость... Я хочу быть всегда с морем! Как Петр Вольнов... Орел... Как ххолодно-а...

Она обнимает его, растирает его ладони и часто и горячо на них дышит. И поправляет на курточке ордена и медали. Но сын пытается вырваться из ее рук: «Я с морем! Я сильный!» – Кричит. Но она или не верит, и все продолжает укрывать от ветра. Или не слышит. По щекам ее текут слезы. Ему она кажется самой красивой. И он поддается ее попытке поднять его. Поднимаются и идут, обнимая и поддерживая друг друга: «Глупенький, никто у тебя ничего не заберет... Будет тебе твое море...»

– И корабли с парусами?.. И гордость? Никто не заберет мою гордость?

– Никто не заберет твою гордость. – Она вздыхает и добавляет устало и выстрадаано. – Ты у меня, слава Богу, глупенький...

И он успокаивается окончательно этим сладким послед-

ним словом. Защитившим его.

Выжить!

Человек в бушлате лежал вмерзшим в февральский лед, распластав руки и ноги, будто упал с необозримой высоты и влип...

«Влип я», – подумал Леха, не открывая глаз, а только предчувствуя

просыпание. Его так учили... Когда оставили голого в каракумских песках: не делай движений, не открывай глаз, не шевели губами, пока не ощутил, что скорпион или тарантул не сидят на твоём лице, а змея не свила гнезда на теплом и кровеносном мужском корневище, упругом перед рассветом... Его учили выживать на снегу и в тропиках, в джунглях и городах, но все это – на территории потенциального врага и скрытно. Он выжил. Он был лучшим специалистом-инструктором по выживанию: в Анголе, Гватемале, в Афгане...

Сейчас он находился в собственной стране, на самом виду... и в мерзлой уличной луже. Но сознание работало четко: Родина учила его выполнять приказы. Был приказ ползать змеей – ползал, прыгать с парашютом – падал, лечиться в госпитале – подставлял свои ягодицы и сдавал кровь стаканами... Он приказы получал за свою жизнь самые разные: «Взвод! Сухую траву и камни перед казармой выкрасить зеленой краской!...» – от старшины в Каменец-Подольске, до «Пленных не брать! Раненых живыми не оставлять...» –

от советника в Нигерии. А закончилось, когда майор-врачиха в госпитале сказала почти ласково: «Вам, капитан Ягодка, новый приказ: все забыть. Армию, я имею в виду... Чем быстрее, тем лучше. Ты еще молодой, сможешь. Собирай грибы или бутылки... – А бутылки зачем? – Процесс поиска и собирания похож на вашу главную военную специализацию – поиск минных сюрпризов. Понимаете, большие рефлексy надо успокаивать... Собирай и сдавай. Это лучшая в твоём случае терапия и реабилитация. Надо жить дальше, сынок... Без войны».

Трое мужиков на автобусной остановке приплясывали от холода и ругали городское начальство за нерегулярность движения транспорта. Лужа с вмерзшим в неё мужиком была в поле их зрения: «Глянь, в бушлатике-то, влип, кажись...», – сказал один... – «Не шевелится...», – добавил другой. – «А может, не живой?» – «Сейчас солнышко припечет – ледок подтает, и все станет ясно: живой – поднимется, а не поднимется – то не испортится». – «Если трезвый был, то хана! А если груженный – как ледокол выплывет, пузырь ставлю». – «Красного?». – «Обижаешь. Если выживет – «бескозырочка»! Сорок градусов!» – «По рукам?!» – «А на работу?». – «Не каждый день такой экстрим стриптизируется». – «Так надо тогда погреться, чего ждать впустую?» – «Грамотно. Тебе и бежать...».

...«Бушлат оказался живым... и при деньгах!!! А с водкой и пивом, как говорится, «нос – как слива, я – красивый!».

Выпили, посмеялись, что легко отогрели, сбегали – добавили...

– Мне, – рассказывал Леха, придя в себя и улыбаясь, – вчера гробовые выплатили, за то, что в интернационале выжил... – Мужики рядом слушали и понимали искренне. – Мне военком не верил?! Не воевали, говорит, мы никогда в тех странах, какие у тебя, у меня то есть, в наградных указаны. Мне не рубли на ящик водки – мне майора этого слова обидны... Вот и нагрузился я по самые уши... Первый раз, поверьте, сил не хватило... А воевал, так не считал тех сил – всегда хва-та-а-ло! – Леша доверчиво улыбнулся, расправляя грудь, – как в песне, слышали, ягодка – малина в гости звала... – пропел...

– А в лужу кто тебя зазвал, герой?

– Смеетесь?! Не поверишь... Луна в лужу упала, на моих глазах, бах!.. Я за ней, бац!.. – Сам засмеялся и за ним остальные.

– А может, к нам на завод работать пойдешь?

Он посерьезнел:

– Нет. Мне работать нельзя. У меня приказ: выжить! Собирать бутылки и выжить...

Кто-то повертел у виска пальцем, но Леха, к счастью, этого не заметил. Он вдруг задумался: «А чего это я был в госпитале?.. Ягода-малина, я тебя любила... Прицепилась песня...». – Леха повернулся к старшему по застолью:

– А на бутылках прожить можно?

– На бутылках? В России? Да бутылка в России – это самая устойчивая валюта. Банк, прямо сказать! Тару принимают в любом магазине. Но лучше – у Зинки на рынке. У нее, как в кино про капиталистов! Все честно и четко, оптом и в розницу. Постоянным клиентам – скидка, жаждущим – стакан... Обслуживание – круглосуточно: сама или хромой «мент-защита» ... Где собирать? Скверы, парк, набережная... В кафешки не заходи – там свои, еще и в милицию заметут... Чужие территории – не суйся, побьют как собаку... Сколько можно собрать? Штук двадцать – без проблем. Утром и вечером, после рабочего дня. Можно и пятьдесят, но это ходить надо, а пьющему ходить – гроб! Думать и изобретать не напрягайся, не надо. Бутылка располагает или к компании, тогда не до философии, или к философии, но тогда не до практики сбора пустой тары...

Леха опять начал пьянеть, и крутились-повторялись в голове знакомые фразы: «...в интернационале выжил... силы не рассчитал... ягодка-малина... на бутылках прожить можно... мне слова обидны... Россия...».

«Старший по застолью» бутылочную перспективу оценил правильно, и к концу года город обрел достопримечательность: «лихой умник прикалывает пляж и речку – ловит бутылки петлей на удочку, циркач!». Клиентов, любопытных к чужому таланту, оказалось достаточно. Любители распить на природе шли «на удочку», выпить и развлечься. Промы-

сел грозил перерасти в представление, да обломился. Какая-то пьяная компания, как молва сказывала «в пиджаках малиновых», подкатила к Ягодке, отдохавшему в тени после трудов праведных и любимой сливяночки и, растолкав, стала бросать бутылки в воду – показывай! Леха сел, протирая глаза и приглядываясь, выскивая заводилу. Определил. Встал. Подошел ближе, спросил: «Тебе, что ли?» – «Мне». – «Показывать?» – «Показывай-показывай, герой бутылочный...», – просмаковал Эдик, улыбаясь бомжу и своей компании. – «Тогда извиняйся и проваливай...» – «Ты на кого встал, мышь дрессированная?!» – «Я – капитан Ягодка...», – с этими словами неказистый бомж взял Эдика за мизинец (это потом вызывало особый резонанс у обывателей) и тот, странно присев двухметровым молодым телом, покорно пошел с ним к парапету набережной. В метре от края, «малиновый» будто споткнулся, нелепо взмахнув взлетающими в воздух ногами, и перелетел, как потом говорили, на водную гладь, обильно фонтанируя...

Постсоветский фольклор гласит: «если беспредел в городе не заметен, значит он хорошо организован». Мафия, на городском уровне. Видимо, за инцидент с «малиновым» Леху «организованно» признали, прозвали «ягодкой-малиной», но ограничили территорией – конечная остановка трамвая у трубного завода...

Положение стало – «труба» – хуже некуда. Питье-то несли

на территорию за забор – рабочий человек пьет на рабочем месте, без отрыва от производства, можно сказать... А значит, и тара оказывалась за забором, попробуй – возьми ее?! Другие на нее хозяева-сборщики. Леха осознал и сформулировал тогда свое первое на гражданке умозрение: чужого не бери. Не построить счастья на чужом несчастье. В природе, глянь! Ни воробей, ни ворон, ни орел, когда строят свои гнезда, из чужих гнезд ветки не таскают... А бутылочному коммерсанту как жить?!. Начал искать пути. Думать. Ведь верно говорится, «хочешь не хочешь, а хотеть надо!» ... надо собрать силы и изобретать деловой успех...

Первой удачей стал рыжий щенок по кличке Рюмочка. «Не будь угрюм, Рюм!» – ласково приговаривал хозяин. Рюмочку, за недостатком харча, он подкармливал спиртным коктейлем: из каждой пустой бутылки можно выкапать, установив ее вертикально горлышком вниз, двадцать восемь капель, – это тоже «из школы выживания» или полузабытых журналов типа «Сделай сам» – «Наука и жизнь» периода советской юности. «Пережили-выжили, пол слезинки выжали...» – напевал хозяин. Щенок рос, креп и приобщался к бизнесу одновременно. В дрессировке дворовые городские собаки самые талантливые. К четырем месяцам щенок стал носить пустые бутылки с соседних улиц и Леха вздохнул облегченно: бизнес стал доходным. Но, будучи по природе справедливым, Леха не мог есть чужой хлеб, тем более – собачий, и потому – зверел и работал мозгами. Сна-

чала, в кустах за остановкой, он соорудил деревянные скамью и столик. Три стакана унес с газировочных автоматов у проходной и надел, переворачивая, на ветки. Сам – прилег на травке, напевая любимую „ягодка-малина... птицы на рассвете..“ Прождал впустую до вечера. Надо было менять тактику выжидания на проверку боем. Утром, встречая выходявших из троллейбуса, выбрал на глазок предмет эксперимента и предложил просто: „Уважаемый, извините, не поддержите здоровье подлечить портюшей, один – никак не могу...». Уважаемый мгновенно оценил ситуацию и, несколько не удивившись, крикнул в толпу: «Серег! Тут человек страдает – лечить надо! Третьим будешь?..». Лечение затянулось. Место понравилось. В обеденный перерыв забежали компанией пятеро – пустые бутылки сложили у ног спящего «хозяина заведения», и бегать никуда не надо и полстакана ветерану интернационала – «в законе». Через неделю он уже вынужден был прикатить со свалки старую детскую коляску – великое изобретение для перевозки тары, цены нет! А над скамьей и столиком какой-то шутник написал и повесил фанерку с кривыми буквами: «Приказано выжить? – Заходи!»

При такой вольной жизни и таких доходах мужчина впадает в то расслабленное состояние, когда его можно брать голого. Первым это ощутил верный пес Рюм, когда хозяин и «какая-то Кисочка» не пустили на кровать. И первым ис-

пытал перемены жизни тоже он, когда понял, что бизнес стал расширяться в части расходов, а женщины смотрят в корень и сосут до косточки. Хозяин стал озабоченно-веселым и все приговаривал: «Любовь требует времени, а секс – места... Ни того, ни другого, Рюм, у нас с тобой нет – будем строиться...».

Утешением для Рюма стало то, что «кисочки, рыбоньки, лапоньки, белочки...» всегда практичны и «за пустой тарой не бегают...». А с учетом темпов строительства и сезонности чувственных позывов, можно было надеяться что зимой, по крайней мере, место «в ногах» на хозяйской кровати для хвостатого компаньона сохранится. Не будь угрюм.

В стране этим временем шла смена мэров, председателей и президентов, посредством отстрела или выезда их за границу. Участковые милиционеры и школьные учителя потеряли привычно-советские ориентиры и растерялись, от насмешек малолетних и жалостливого презрения власти... но остались патриотами. С похудевшими лица– фигурами, правда...

Кумачовые советские лозунги поперек улиц заменили на рекламно-неоновые трусики и лифчики выше домов... Города и проулки замусорились парусами дырявых газет и кучками плутающих демонстрантов... Дрались за флаги, рвали из рук и на полосы, топтали ногами и жгли... Шалели от демократии и свободы, и стреляли фейерверками в тиши-

ну неба и звезды, будто и звезды надо было сбивать, как лампочки... Спиртное стали разливать в пластик. Бизнес кончился. Стеклоянная тара росла горой.

Леха понял, что надо маскироваться в бутылочный цвет и начал копать траншеи под фундамент. Это напомнило ему курсантские будни и рытье окопов, отвлекало от мрачных мыслей. Он снова напевал и насвистывал: «ягода-малина, я тебя любила...». Но он еще сам не верил, что строит дом.

Строительство затянулось на все перестроечные годы. Дом из бутылок особенно нравился Рюму утром, когда стены ловили солнечные лучи и разбрызгивал их на цвета радуги, медленно от этого нагреваясь.

Но дом притягивал не только осколки света, но и осколки жизни. Сначала Леха привел бывшего летчика. Его встретили они с Рюмом в кафе-пельменной у вокзала. Шел дождь. Хозяину хотелось горячего, а верному псу – сухого тепла под столом. Незнакомец был одет прилично, но сидел одиноко. На внимательный взгляд хозяина собаки кивнул и спросил:

– Служил?

Леха-хозяин ответил откровенно и коротко:

– Спецназ.

Незнакомец протянул руку:

– СУ– 27, летчик. Служил на Байкале, вернулся на Украину. Не прижился нигде...

– Жилье тебе надо, квартиру свою, чтоб от людей не отбиться.

– Отбиться? Отбиваются от врагов.

– Я в том смысле, чтобы по-человечески. По людскому закону. С людьми вместе, а не отдельно... Ген выживания, что ли...

– Выживания? Где ты выживание видишь? Жадность это. Жадность и зависть. Посмотри вокруг, какие хоромины на бывшем пшеничном поле. От природы? Зверь берлогу или гнездо только для защиты своей или для заботы о ком-то строит, а человек – дом «для продажи!» Зачем?! Такой ген природа дала, а человек потерял. Мне на поле аэродромное самолетом садиться, а там кошку с бантиком на прогулку вывели – куда садиться? Зачем аэродром под кошку продали? Это полюс в мозгах сбился, винтик какой– то, сломался. Который от бога в человека вложен был... Был ген, а теперь хрен – жадность в душе выросла, деревом эдаким. Видал?! – Показал двумя руками, растопырив и шевеля пальцами. – А зачем сквозь меня дерево?

– Сам придумал?

– Нет, прочитал в газетке, ученый открытие сделал и в лес жить ушел...

– Понятно. Ну, мы не ученые. Открытий делать не будем. Жить хочешь – ко мне идем, места хватит... – заключил Леха просто.

Летчик задержался до весны и каждый вечер, после бутылки на двоих, повторял только эти слова: «Ген сломал-

ся...», других слов, кажется, он или не знал, или забыл.

Леха летчика не искал, но вспоминал часто: «Гляди, Рюм, самолетом наш летчик управлять научился, а людские слова забыл, почему? Обиделся. А на людей обижаться нельзя. Если что и сломалось в нас, человеках, так от этого не отворачиваться, а пригреть надо. Может и ген этот, который сломался, пригреть... Муравей к муравью. Клеточка к клеточке... Ты ко мне почему ластишься? Теплу рад. Вот я и другое мое открытие делаю: главная от человека польза – тепло. Ты меня понимаешь, Рюм?..

Это было второе собственное умозаключение гражданского Лехи.

Потом был бывший старший механик танкера «Балашиха» – вальяжный, спокойный, разговорчивый: «...во Франции, в Бресте, стояли на ремонте мы четыре месяца! А я познакомился с дамой – француженка! – пригласила она меня домой, все по полной программе и вдруг – муж приходит! Я – к балкону! Еле она меня удержала. Оказывается, у них так не принято, через балкон. С мужем своим смеялись они надо мной каждый раз, когда встречались мы с ним за общим семейным столом... А работал муж на судостроительном заводе, где в одном конце наше судно стояло, а в другом – французская подводная лодка. Получил я через консула важное задание, приказ родины, можно сказать, пройти через цех, где лодочные винты обтачивали, и на подошве вынести ме-

таллическую стружку... Я – выполнил. Обещали мне медаль КГБ дать, но кто-то доложил в пароходство, что я «морально не устойчив по женской части...». Мне и вовсе визу прикрыли, не обидно ли? Я во Вьетнам четыре рейса под бомбежками сделал, «Медаль Хо Ши Мина» и «Орден Дружбы народов» имел, обидно... а на жизнь обижаться нельзя, парень... Как быть?.. Наливай! За твой дом бутылочный, да за рожу твою улыбчивую, ягодка ты моя... У меня ген простой: при женщине – мужиком, при мужике – напарником... Тебя учили, что ты смелый как тигр, и сам ты силен, потому что – тигр. А я – моряк. На море моя сила от тех, кто рядом. И здесь моя сила – от лая собаки на кошку, от крика петуха на зарю, от твоих шагов к калитке, или от этого дождя по листьям. Прислушайся... Кто тебе скажет это еще?..».

По вечерам заходил дядя Ваня «Теркин». Дядя Ваня работал сторожем на лодочной станции, часто кашлял «от фронтального ранения в сорок пятом» и был желанным в любой компании за природный артистизм и душевную готовность декламировать Твардовского с любого места и по любому случаю: «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда... Разрешите доложить коротко и просто: я большой охотник жить лет до девяноста...». Но когда поведет его рюмочка, переключает пластинку на одно и то же: «Одесса... Дача Ковалевского, знаешь? Музей обороны Одессы... 408 – я батарея...

12 тысяч лошадей, 40 тысяч раненых, ежедневно... Эвакуация – 136 судов за одну ночь. Ни одного гражданского... История!.. А забор из стволов артиллерийских орудий, участвовавших в войне на Балканах 1880 года... Помнишь?.. Как у поэта про войну?..» Есть война – солдат воюет, Лют противник – сам лютует. Есть сигнал: вперед!.. – Вперед. Есть приказ: умри – умрет...». За Дядей Ваней прибегает внук и кричит деду от двери: «Тула! Тула!» – «Это я!»... – отвечает ему Теркин-Ваня, – «Тула – родина моя! – смеется внук и падает деду на колени, поясняя: «Баба зовет...». – Дед поднимается идти и гордо выпячивает грудь, улыбаясь: «Есть приказ: умри – умрет...» – Внук смеется и смотрит влюбленно...

«...Даже собачьего ума достаточно, чтобы понять, что жили мы весело и любопытно...», – сказал бы Рюм, если бы умел это. И это было бы его, собачье умозаключение о гражданской жизни. Но хозяин его все больше грустил и нервничал, ждал, что его позовут, и скрипел по ночам зубами, не понимая... Он хотел подвига и говорил Рюму, поглаживая собаку за мохнатую шею: «Здоровый человек лишнего не берет. Лишнее – еда, ноша, гнездо – это только ожирение, грыжа, суета и одышка... Каждый воробей знает, что и крошка бывает лишней, потому он бросает ее, чтобы взлететь. Воробью, главное, махать крыльями. А нам с тобой, Рюм, что главное? Приказ выполнить... Не будь угрюм, Рюм... Делай,

как я!»

Весной, когда в зеленой траве нарисовались желтые, белые и сиреневые цветочки, а птицы кричали в небе так громко, что качались ветки деревьев, Рюма поймали пятнадцатилетние пацаны и захотели посмотреть, как собака заплачет. В них, видно, проснулся ген предков-охотников, жаждущих крови, чужой. Может агрессия души, по Фрейдю? А может сдвиг по фазе в мозгах?.. Рюм не заплакал, а взвыл тонко, испугавшись лезвия ножа и своей собственной крови, брызнувшей на лица пацанов. Леха услышал, и ген старого десантника выбросил его, как команда ротного, как пружина выбрасывает патрон к выстрелу...

Когда Ягодку вывели из зала суда и сажали в машину, другие молодые со свастикой свистели и кричали угрозы ему вслед... Милиционеры заламывали Лехе руки. Женщина-судья перебирала бумаги у себя в кабинете и успокаивалась, довольная, что процесс прошел быстро, и она успеет домой к обеду...

Рюм, еще слабый от ран, стоял на тротуаре, покачиваясь и не понимая происходящего. Гены его были девственно мудры от природы, не затронутые эволюцией человеческой жизни... Один глаз слезился...

Дом из бутылок дважды пытались развалить бульдозером. В первый раз милиционер – руководитель акции пожалел со-

баку, вставшую с бушлата-подстилки и зарывавшую на людей и трактор. Во второй раз, было утро, и солнце играло лучами на разноцветных стенах, бульдозерист вылез из кабины, обошел странное сооружение и сказал, улыбаясь: «Ну, и живучий же человек жил – за всех!.. Так что, приказа „валить!“ я не слышал... Пусть еще постоит – бутылочка!».

И дом остался стоять. Памятник блиндажу и застолию.

Через год его обнесли забором «от администрации» и стали показывать туристам. За деньги...

На каждую подъезжающую к забору машину Рюм поднимает уши. Голос экскурсовода будто повторяет знакомые собаке слова: «А третий мой закон и вовсе прост. Успеть надо кого-то полюбить. На то и дана жизнь. Хоть один день живешь, а хоть век – а не всем дано... Другой, смотри, трех жен сменил – никого не любил – разве так можно? Вот ты, Рюм, любишь меня, собака ты рыжая?!. Как красивы эти, птицы на рассвете...»

И тогда заюлит пес, от хвоста до кончика улыбающегося носа, скуля и повизгивая от радости. И побежит за припрятанной под забором бутылкой... как тогда... Собрать на жизнь, ягодную! Будто она еще только начинается...

Рюм лежит на зеленой траве и радуется теплу. Тело его пронзают токи весеннего электричества, идущего из самой земли, как лечебная аура. Зрение стало слабеть, но слух не подводит. Рюм слышит чужие шаги и странный грудной хрип: «Эй, Рюм! Не будь угрюм... – шептал странный чело-

век, держась рукой за калитку и за собственную тень. – Живой?..»

Из левого, живого, глаза собаки течет радостная слеза.

– И я, Рюм... Пережили-выжили, полслезинки выжали...

Ему снились маки...

Михаилу Степановичу Глинистову

Каждый раз, когда дед улыбается во сне, я знаю, какой сон ему снится. Это потому, что мы с дедом «кровиночка», как он говорит, что я очень похож на него в детстве, хотя этому нет доказательств – не сохранилось ни одной фотографии и ни одного дедова родственника или сверстника, кто мог бы подтвердить или усомниться. А в чем сомневаться? Мне нравится считаться похожим на деда. Я хочу быть похожим. И даже когда мама ругает меня за походку «под деда», танцевальную, с протягиванием ноги, как в вальсе, за манеру опустить и выдвинуть вперед плечо, как в боксе, за привычку переспрашивать собеседника вопросом на вопрос, ставя человека в тупик, – я не сержусь, а радуюсь: кровиночка... Я тоже во сне вижу маки.

Дед мало говорит, он уже мало ходит. Кожа на лице его стала какой-то просветленно-прозрачной, словно солнце проникает и высвечивает каждую клеточку его теплой жизни, пульсирующую... Веки совсем не слушаются и по минутно опадают, прикрывая голубые глаза, и дед их берет за ресницы пальцами и приподнимает, как фокусник, только мягко шевелит розовыми губами, улыбаясь и приговаривая: «Нагляделся я, Вань, нагляделся, а никак еще, мил, не на-

радовался... Будто только проснулся в родной Любимовке, только глянул за окно на весеннее солнце, на маки по склону... и жить мне и жить снова... только немцы пошли во весь рост, побежали, стреляя... Бой мой длился всего-ничего – атака, а в плену потянулись годы, а победа пришла – так она для других: мне – лагерь дальний да степь мангышлакская... за тот плен...».

Я тоже люблю солнце. Я родился и вырос в казахской степи, где земля не кончается, кажется, сколько бы ни старался бежать к горизонту, сколько бы ни пытался заглянуть дальше: только небо и ветер, да змеится ковыль, и колючки качаются, да маки облетают лепестками по ветру, за несколько дней успевая расцвести и осыпаться... Казахские маки. Других я не видел. А дед помнит крымские, где вырос и воевал он... один день. А вздыхает: «Я, Вань, будто всю жизнь в той войне... Не жалели людей... И теперь – не жалеют...».

И потому я совсем не удивился, когда дед спросил:

– Ты поедешь со мной?

– Куда, дед?

– В Севастополь.

– Ты же не хотел... Ты никогда не возвращался туда и в советское время, а теперь, когда нам из Казахстана через пол-России и еще по Украине... чего ты надумал?

– Письмо вот пришло, зовут... Раньше вызывали только: «с вещами на выход!»...

– А сил хватит? Здоровья тебе хватит, дедуля? – и я рас-

смеялся, пытаясь смягчить этот удар ниже пояса. Но дед улыбнулся в ответ:

– Так ты же со мной будешь, Вань...

И мы поехали. Через Казахстан и Россию, автобусом, поездом, в молчании и разговорах, с попутчиками, чаем и рюмками, дождем по стеклу и просторами и просторами... от поселка до города и от города до поселка...

Я знал всю историю деда. Все в доме знали. Что в том странного? В той стране все знали многое и друг о друге, и о победе, и о заборах из колючей проволоки... Весной 42-го, на родных его сердцу крымских высотах, он стоял в строю сводного батальона ополченцев. Плохо слушая говорящего что-то командира в бушлате и черной форменной фуражке, он смотрел на долину реки Бельбек, куда бегал с пацанами купаться, на дым над поселком, на море, далеко-далеко видимое, на виноградники у татарских домиков справа, среди известковых обрывов и серых камней. Его волновало, что ему не досталось винтовки, и он должен идти рядом с пожилым дядькой, усатым, с уставшими от долгой бессонницы глазами. Командир в бушлате сказал, что оружие еще подвезут. Дядька суетливо оглядывался и всех спрашивал, а нет ли у кого покурить... Винтовку свою он держал на плечевом ремне и постоянно ощупывал, на месте ли, приговаривая молодому и безоружному: «Ты, парень, не торопись, главное... Достанется и тебе пострелять... Немец сейчас жадный до нас... Зверь...». Перед строем бегала соба-

чонка, будто кого-то искала. Командир на нее цыкал, а ребята тихонько подсвистывали, подзывая. Оружия не имели многие, но успокаивали друг друга:

– Главное – на передовую попасть...

– А в атаку на немца бежать без оружия как? Докажи, что не в плен сдаваться?..

– А в морду за такие слова хочешь?!.

Где-то в поселке пропел петух, и это развеселило многих: «Веселый! Что живой еще... А в супец его... пусть живет!...». Дед удивлялся насмешливой обыденности разговоров в строю и стыдил мысленно своих новых товарищей-ополченцев за эту несерьезность. Сам он постоянно думал о предстоящем бое, который представлялся обязательно героическим, как князю Андрею в «Войне и мире», и потому дед внимательно все осматривал и запоминал, полагая, что все может оказаться важным, для *его* подвига... Впереди были окопы, земля и камни, да холмилась весенняя степь алыми маками по склону. Тысячи людей ковыряли эти склоны лопатами и давили эти маки сапогами и ботинками. Рыжего парня, перематывающего портянки на ноге и крикнувшего кому-то в траншее весело: «Кашу мою не жри! Я и сам – мастак...», – дед вспоминал, улыбаясь. Про дворнягу перед строем и петуха-певца дед рассказывал мне раз двадцать, как о родных... А родных не осталось у деда: все в войну погибли и сгинули... Не нашлись.

Бой начался неожиданно. Кто-то крикнул: «немцы!» –

и из-за холма выполз черный танк с крестом на башне и шевельнул пушкой, как таракан усом. Потом все смешалось. Дед в шинели лежал рядом с усатым дядькой, который прижался щекой к прикладу своей винтовки и ругал безвинтового молодого: «Чего ты за мной ползаешь, як моей смерти ждешь... А я ще и сам не настрелялся...». Выстрелил. Молодой выглянул из-за камня: впереди – все шевелилось и рвалось пополам... Пополам переломился стебель мака, пополам согнулся и упал командир, роняя фуражку... Пополам задымилось небо, закрывая море...

Когда приехали в Севастополь, оказалось, деда действительно ждали: какие-то новые лидеры то ли за воссоединение с Россией, то ли за отделение от всех и провозглашение республики, то ли просто понадобилось собрать бывших оборонцев, выживших на фронте, в лагерях, в миру человеческом... По одной улице шла к морю горстка бывших десантников, по другой – приглашенные гости из новой Германии, где-нибудь в сквере выступали перед хлопцами дядьки-западенци, а кто-то отыскивал по архивам таких, как дед, земляков, но с войною и пленом... Новая жизнь? Политика? С десятью инвалидами-стариками впереди, как щитами прикрытия перед новой атакой?.. Агитка...

Митинг проходил на холмистом поле. Далеко было видно море, расстроившийся город белел вдали. Долина реки, слева, была застроена яркими коттеджами и пестрила сиене-красно-зелеными крышами. Доносились гул и сигналы

машин на шоссе. Далекий склон впереди словно преклонился перед сотней людей с флагами, полем волнующегося ковыля. Солнце растеклось по небу, жовто-блакитному...

Дед подошел к микрофону и снял фуражку:

– Атаку я помню. Винтовки у меня не было – не успели подвезти еще, а атака началась... Мой немец, как из-под земли вырос, дядька! – уперся в меня автоматом, да опешил, что я без оружия. Замахнулся ударить, и попал большим пальцем мне в рот. Я палец ему откусил, с испугу. А может потому, что так жить хотел? Рвануло нас взрывом. Очнулся я – немец рядом. Обнимает меня рукой, мертвый. У меня во рту его палец. Шевелится! Стошнило меня, все нутро вывернуло, я из окопа потянулся – воздуха глотнуть, тут бабахнуло снова... Как очнулся – забор, сарай, немцы, сам в крови весь. Вся война моя, значит... Не довелось геройствовать... Теперь вот землицы приехал взять с собой в Казахстан, чтоб роднее лежать... А где она для меня – родина?.. поле маковое...

Никто нас не провожал.

...В автобусе до Керчи было весело. Пассажиры смеялись. Парни студенты ехали на футбол в Феодосию и предвкушали победу. Рабочие-строители загрузились в заднюю часть автобуса и обсуждали предстоящую работу в России, с надеждой. Две девушки громко разгадывали кроссворд и вертели головами, спрашивая и заигрывая.

– Спросите меня! Меня спросите, – вскакивал и тянулся

через два кресла морячок с пивом.

Двое военных, сосредоточенно наклоняясь, разливали в пластиковые стаканчики и, вместо закуски, допытывали друг друга: «Ты за кого? – А ты за кого?». Дед – улыбался, слушая. Будто помолодел. В руках держал, не выпуская, баночку с крымской землей. Лукаво посматривал на меня: нравится ли? А почему не понравится? Все мне нравилось: и паровоз-бронепоезд на вокзале, лестницы и дома, и дорога над морем и городом, как в прощальном полете, и море, печальное... Дорога петляла, стелилась, ныряла и поднималась вверх. На стареньких арках и стрелках мелькали названия чудные: Приветное, Сирень, Веселое, Доброе, Счастливое... Из какой это жизни? Вдоль дороги стояли и стояли бесконечно, как в очереди, молчаливые женщины рядом со своими ведерками фруктов, баночками грибов, соленьями, салом и хлебом. Озабоченно смятые лица глядели устало...

В Керчь въехали ночью. Света на улицах не было. Когда фары автобуса выхватывали из темноты мусорные баки, из них выпрыгивали и бежали в стороны фигуры и тени:

– Что это?

– Люди! Город-герой проезжаем...

В автобусе стало тихо.

Подъехали к переправе. Всех попросили из автобуса. Началась процедура проверок, досмотров, бумажные бланки и строгие лица. Заспаные.

По одному отрывались от очереди, как листики с дерева,

и шли с вещами. Со стороны это напоминало какой-то документальный фильм – лагерный или военный? Дед сгорбился и постарел. Землю держал обеими руками.

– Что у вас? Покажите... Проходите... Откройте сумку... Проходите... Покажите карман... Деньги... Гривны, рубли, валюта... Проходите... Что у вас в банке? Земля? На могилу? Шутник, дед? ...Высыпай! В вашей степи собственной земли на всех хватит... С кровью твоей, говоришь?! А мне не чем проверить – земля это или кровь... А может – взрывчатка?! Высыпай и проходи, не задерживай...

Процедура заняла полтора часа: вопросы, анкеты, очереди, погоны, ограды, толпа людей, край земли... На пароме растеклись по палубам и салонам. Соединялись трудно. Листики с дерева... Слабый свет освещал диваны, чемоданы и сумки, лица... Где-то внизу заурчал двигатель. Прозвучала команда... Палуба вздрагивала. За черным окном шевельнулся причальный огонь.

– Мы на нейтральной полосе, граждане! Подходи, не стесняйтесь! – улыбалась и звала женщина в платке и с двумя сумками в руках. Поставила сумки, раскрыла, доставая термоски и разовую посуду, надевая на себя фартушек. – Подходите, пассажиры, подходите! Наша земля, хоть и на воде. Хоть и полоса, а все-таки светлая, поесть можно. И надо поесть. Девушка, что вы хотите?.. Все свежее, все домашнее, для людей стараемся. И к закуске чего надо – найдем, хлопцы! – достала маленький магнитофон, поставила на ска-

мейку рядом, шелкнула, выпуская голос Высоцкого: «... Что за свадьба без цветов – пьянка и шабаш... А на нейтральной полосе цветы...».

Стало совсем по-человечески. Я тронул деда за плечо:

– Хочешь картошечки горячей с огурчиком, дед?»

Он покачал головой отрицательно:

– Подремлю чуток, милый... Ты иди-ка, на море глянь...

– Так темно, дед. Что там видно?

– Ты понюхай его, – он попытался улыбнуться, – скажешь мне, как оно пахнет... Я его всю жизнь помню. И как оно шепчет...

– Шепчет? Что оно может шептать, дед? Вода.

– Грех тебе так, степному человеку вода жизнь дает. А море – живое и умное... – Усталые веки закрыли глаза, дед на ощупь нашел мою руку и потянул ее, будто указывал путь. Я погладил его пальцы, тонко вздрагивающие. Вспомнил вдруг, как нашел в траве птенчика, слабого, взял его в ладони, поднес к губам, согревая дыханием, и он шевелился и тыкался клювиком в мои пальцы... Дед отдышал, слегка наклонив к плечу голову. Я вышел на палубу. Шум двигателя, плеск, поток ветра, шершаво-холодный металл борта и совершенно черное небо над головой – все стало реальным. Какие-то крики, словно плачет ребенок, носились в сыром воздухе. Вдруг ночь просветлела: увидел огни берегов: одного и другого. Из темноты веером мне махнуло белое крыло птицы. И еще одна, молниями, вверх-вниз... Это чайки ме-

тались и кричали из самой глубины ночи и плакали. Внизу вспыхнуло отражение иллюминатора и побежало по волне. Я наклонился над бортом, пытаюсь рассмотреть воду, и вдруг я вдохнул и захлебнулся, аж слезу из глаз вышибло, запах йода, будто все мои царапины заныли в душе...

Дед сидел в той же позе. Знакомая баночка лежала в открытой ладони, открытая. Остатки сухой красноватой пыли сыпались на палубу и разбегались крупичками. Я подошел и сел рядом.

Я знал, что случилось. Дед улыбался, будто во сне, будто опять видел: маки, огромные, облетают... Я остался один, «кровиночка». В этом поле.

Жажда

Федора Ипполитовича похоронили в субботу. Без оркестра и помпезности.

Было мокро и грязно. Снег скользко размазывался под ногами людей, несущих гроб. Упавшая веточка траурного венка дважды переломилась, втопанная в желтую кладбищенскую грязь, проступившую сквозь подтаявший снег... Обычные скромные похороны.

Вдова, одетая в черное, как и положено, не проронила ни слезинки. Красивая в своем сорокапятилетнем возрасте особым сочетанием утраты и достоинства. Когда наклонилась и целовала мужа, все, кто стоял рядом, услышали отчетливо: «Я тебя не оставлю надолго одного». И все.

Саша сидел теперь в кабинете умершего шефа и перебирал содержимое ящиков. На знакомство с делами заведующего отделом ему дали один день.

Он почти не успевал просматривать содержимое папок, тетрадей, потертых записных книжек разного формата. Бумаги попадались, старые, уже отработанные, и непонятно зачем еще хранимые.

Бросилось в глаза «Личный дневник» – вспомнил вдову на кладбище – стал читать:

...Началось первое студенческое лето. Я принят на рабо-

ту в геологоразведочную экспедицию. Еду сопровождать две платформы со взрывчаткой. Дорога будет проходить между соляными озерами и расположенными через 10—15 километров один от другого поселениями для ссыльных (лагеря без охраны): мужской – женский, мужской – женский. От лагеря до лагеря солончаки и пустыня...

Перевернул несколько страниц:

Пески распадаются золотыми, заманчивыми, как нарезанный торт, волнами, по обе стороны узкоколейки. Мотовоз грохочет гулким металлом колес, рельсы, буферов и платформ, груженных взрывчаткой. И весь этот грохот пронизывает до костей, заставляя вздрагивать.

Мы с Мишкой – напарником – лежим на ящиках, выставив оголенные животы небу, и кричим кто громче: «Не-э-бо!» Небо ушло высоко вверх, поглотив в синем солнце. Стоит поднять взгляд, и оно мгновенно обрывается прямо в глаза. Больно. Искрами носится под ресницами белое. И не скрыться нигде. Солнце. И красный песок. И черная тень состава плоским изгибается по ступенькам шпал, и тоже краснеет, отлетая за последней платформой. Протягиваешь руку и черное опадает вниз и бежит по песку. Рядом.

Остановки. Какие-то крики. Обе платформы со взрывчаткой отцепили и состав покати́л дальше, за стрелку, к деревянным баракам женского поселения, которое зарылось в песок длинными ребрами серых крыш. Внизу, между крышами, аккуратный овал высохшего соляного озера. Лица людей

будто разъедены солью и солнцем. Даже небо бесцветно.

– Мальчик! Дай мыло.

Пока я повернул голову, Мишка, он между нами старший, уже грохнул затвором, как инструктировал завхоз: «Стой! – и, вскочив на ноги, – не подходи!»

Человек тридцать женщин, все в грубых костюмах (брюки заправлены в сапоги, куртки наглухо застегнуты, косынки, туго охватывающие лицо, – все покрыто соляной коркой, ломкой, как набелы известки), тащили с платформы ящики. Аммонал квадратился в них брусками хозяйственного мыла.

– Дурак еще. Молод... – негромко сказала высокая женщина и, сжимая одной рукой черные кругляшки защитных очков (две стеклышка, вшитые в полосу материи), другой уже выхватила из ящика маслянистый брусок, осторожно надкусила и, грубо, по-мужски выругавшись, бросила опять в ящик:

– Аммонал это, бабы.

– А чего это... Чего – аммонал?

– Взрывчатка.

– А горький какой, тьфу.

– Трусы-то короткие, мальчик.

– Да не мальчик, уже.

– Может, в гости пойдешь, а?

– Мальчик! Идем, молокосос.

– А какой загореленький.

Мишка весь как-то сжался. Он не был готов к встрече.

Напуганный слухами и разговорами о лагерных женщинах, сейчас, раздетый, он не смел им дерзить и не знал, куда спрятать мальчишеское свое тело.

Я, сидевший на другой стороне платформы, одетый и ничем не вооруженный, чувствовал себя, безусловно, лучше. Я мог даже наблюдать за ними, женщинами, за их улыбками, взглядами, когда они, обходя платформу и удаляясь в сторону озера, говорили о чем-то отрывисто и неприлично. Лишь одна подошла ко мне, потрогав осторожно за колено, спросила: «А мыла нет?» Лицо у нее было настороженное, будто она боялась, что я сейчас ее отпихну или ударю ногой. И только когда я ответил, что мыла нет, но я могу отдать свое, и попробовал подняться, она жалостливо как-то улыбнулась и прижала ладонью мое колено: «Сиди. Спасибо», — тихо очень. И отошла, оглядываясь. Глаза у нее были задумчивые.

Потом приехал завхоз. Очень быстро нашел временного сторожа, старика— туркмена. Вручил ему из Мишкиных рук винтовку, предварительно проверив, что она не заряжена, и повторив дважды: «Стрелять нельзя, не дай бог убьешь кого. Нельзя». Терпеливо проследил за губами старика, которые, будто перекатывая камешки, долго и почти беззвучно повторяли приказ и, наконец, внятно подытожили: «Начальник понял». Так что непонятно стало, кто из них был начальником. Но завхоз, маленький и сухой рядом с маленьким стариком-туркменом, довольно живо взял у Мишки оба выдан-

ных накануне вечером патрона, уже не глядя на старика, сунул их в свой карман и быстро зашагал впереди нас, зачарованных его распорядительностью. А старик, не сделав ни единого шага в сторону, опустился на песок, положил винтовку на раскинутые по-азиатски колени и замер, лицом на запад.

Наступила ночь.

Завхоз привел нас в маленькую комнату одного из барачков. Указал на четыре заправленные койки: «Любую, – сказал. – На улицу не выходить. Ждать меня. Закройтесь», – и, бросив на ближайшую койку ключ, ушел.

Молчали. За стеной было тихо. Но там были женщины. Это чувствовалось по каким-то едва уловимым признакам. По стуку упавшего на пол карандаша, по мягко прогнувшейся и снова прилипшей к плинтусу половице, будто там, за перегородкой, кто-то невидимый нечаянно наступил на нее, по скрипу кровати, по возбуждающемуся, как камертон, от почти неслышимого звука воздуху... Мы боялись шевельнуться. Эти незнакомые и невидимые женщины уже имели над нами ту беспокойную власть, которая звала и пугала одновременно. Как глаза той, которая подходила и трогала меня за колено.

– Ребята, откройте! – Голос завхоза подчеркнуто бодр и галантен. – К вам дамы.

– Не дамы, а дама, – поправляет она и входит, широко раздвигая низ юбки босыми ногами.

Знакомимся. Она заглядывает в лицо каждому и громко смеется, будто и вправду смешно ей. Уголки губ у нее неприятно влажные от постоянного смеха, мелко трясутся под тоненькой тканью оплывшие плечи. Она садится к Мишке на кровать.

– Миша, милый, я хочу с вами выпить. Какие у вас красивые брови. Миша, – гладит его брови.

– Брови молодого демона, – отзывается завхоз, наливая в единственный стакан, и самодовольно хохочет.

– Да-да. Брови демона... – моментально обернувшись, с готовностью подтверждает женщина, – прямо демон. Миша, вы демон? – И берет его за руку.

Я смотрю на Мишку. Мне неловко за него и не хочется, чтобы Мишка оплошал. Но стыдно, ужасно стыдно за женщину. Понятно, зачем она здесь, но почему же она? Почему не другая, та...

Я боюсь, что сейчас она отвернется от Мишки и приблизится ко мне закудрявленным лбом. Вино кажется липким и почти не течет. И стакан тоже липкий.

Завхоз что-то шептал женщине и потом только переспросил:

«Маша или Клава? Маша? Чернявая такая? Тим-там-тара-там...», – поднялся к выходу.

Мишка тоже подглядывал за мной и, думая, что я не вижу, прижал свою ногу к ноге женщины и покраснел.

Я поднялся:

– Мне надо выйти, – и вышел с завхозом.

– Ты куда? Я с ней договорился, что вас двое...

– Иди, ты...

– Ну, – совсем не обиделся завхоз, – ты парень не промах. – И пошел, пошатываясь, по коридору, длинному и плохо освещенному.

Я вышел следом. Где-то рядом прятала ночь красивые женские глаза. Окон было чересчур много. Однажды показалось, что это она. Осторожно подошел к окну и ждал, пока обернулась. Отступил в темноту и, стараясь не шуметь, пошел дальше. Вышла какая-то женщина, постояла у стены, произнесла что-то неразборчивое, глядя на звезды, и снова ушла.

Звезды, то мелкие и частые, то зеленым и сиреневым вытянутые на ярко– фиолетовом небе, были как плывущие и ломающиеся на волне блики. Все дышало. Песок уже был холодным, а из степи упруго давили, изгибаясь, струи горячего воздуха. Плоско упало на песок отражение внезапно вспыхнувшего окна. И черным клубилась вокруг золотого ночь. И сыпались с громким шорохом песчинки, каждый шаг выдавая. И длинно, как поезд, светились бараки. Ряды поездов. И хотелось спешить.

Тело начало мерзнуть. Я повернул назад. Но назад идти было некуда. Не время. И не хотелось. И еще часа два или три я бесцельно бродил по окраине поселка, то согреваясь, то замерзая снова, когда пытался присесть.

Подошел к своему бараку. Света в коридоре уже не было. На ощупь нашел двери. Попробовал – открыто. Вошел. Рукой поискал на стене выключатель. Выключателя не было.

– Миша! – позвал тихо.

– Что? Какой Миша? – Кровать испуганно скрипнула, отделив женский голос от тишины, как лист от дерева.

– Миша... мой друг, – и, будто сообразив, добавил, – парень. Мы взрывчатку привезли днем на платформу у стрелки.

Пауза.

– Вы барак перепутали...

Потом очень долго все было тихо. Наверное, мы не дышали.

Надо было уходить. Куда? Черт разберет эти сараи. Женский голос сказал:

– Проходите. До утра все равно ничего не найдете.

Я начал вдруг волноваться. Долго закрывал дверь. Что-то мешало на пороге. Наклонился, поправил половую тряпку у двери, дверь поддалась и закрылась.

– Вы одна?

– Да.

– А остальные?

– Я здесь одна.

Я спрашивал шепотом, и она шепотом отвечала. Я почувствовал, что весь взмок. Увидел темное пятно портрета, две кровати, стул и на него что-то наброшено, наверное, одежда,

стол у окна. За окном черно блестел освещенный уличным фонарем, одинокий столб.

Казалось, прошла вечность. Я спросил:

– Вы не спите?

– А ты долго так будешь стоять?

– А куда идти?

– Сюда... Я разглядел вдруг, будто зрение стало в тысячу раз сильнее, ее запрокинутую на подушке голову и вытянутую ко мне руку. – Иди... Только не говори ничего и не спрашивай...

Мне чудится лес. Утро. Веревки качелей тонко и высоко взлетают в листву дерева. Ветки качаются, прогибаясь под упругими петлями. И все выше полет. И уже не скользишь вниз, замирая в падении. Только вверх. Когда же падение? И солнце мелькает, сжигая листья. Выше! Когда же падение? Выше!..

– Еще... – она напряглась, и, вдруг расслабившись, засмеялась у меня под подбородком.

– У тебя красивые плечи. И руки. А что это за ранки?

– От соли.

– Пройдет?

В ответ она жадно и нескончаемо целует меня:

– Соскучилась я по человеческому, – говорит, будто извиняясь. – Хочешь знать, как я сюда попала?

– Не надо.

– Надо... Всего два месяца проработала. Школу закончи-

ла – курсы продавцов. Работала со своей тетей. Она – завмаг. Двое детей. С мужем в разводе. Пил. Бил. Конечно, она жила не только на зарплату. Разве она одна? У всех знакомых кто-то сидел или сидит. Тут ревизия. Растрата. Я взяла вину на себя – у нее-то дети. Она поплакала и согласилась. «Что делать, племяшка, два года отсидишь, тебе только двадцать будет. Помогу...»

– Это же бесчестно.

Она накрыла мой рот маленькой ладошкой и неожиданно улыбнулась:

– Я хочу, чтобы у меня был ребенок.

– Сейчас?

– Глупый, это не происходит так быстро.

Я смутился еще больше:

– Разве об этом тебе думать?

– Я просто думаю о счастье.

– Какое же сейчас счастье?

– Какое? Желанное! Я желаю его. И буду желать несмотря ни на что. Даже здесь! Назло тем, кто не хочет быть счастливым. Я не откажусь от себя... Я завелась. Мне не важно, что происходит вокруг – магазин, лагерь, очередь... Важно – в душе что? Я завелась, как пружинка. Насколько меня хватит? Но я хочу так. Только так... Стыдно, что у вас, которые на свободе, не достает желаний. Сыты полуобманом, полуудовлетворением, полусчастьем. Не смей уподобляться им! Меня томит жажда. Радоваться и любить!

Вдруг затопали за стеной, по коридору, зашлепали босыми ногами, застучали в двери:

– Дождь! Дождь! Ведро несите! У кого ведра?!

Она вскочила и, чмокнув меня, напуганного этими криками, закричала:

– Здесь! Здесь! Я сейчас... я сейчас, миленький, – зашептала мне. Забегала по комнате, хлопнула дверь, вбежала опять, смеясь и целуя, и дергая меня. Сияла. Шептала:

– Сейчас наберем воды и будем купаться. Хочешь купаться? Жуть как люблю мыться дождевой водой. Буду чистенькая. Вот увидишь. Солнышко взойдет – ты меня и увидишь. Хочешь?

Саша перестал читать и откинулся на стуле. Закурил. Вышел в коридор. Вернулся минут через двадцать с картонной коробкой из-под печенья – взял в буфете – и, уже без любопытства и излишнего беспокойства, складывал бумаги Ипполитовича одной плотной массой. Тетрадный листик выпал из старой папки и медленно лег на пол. Пришлось наклониться за ним и, невольно прочесть несколько строк:

«Целую. Целую. Здравствуй. Соскучился. Не могу сосредоточиться. Не могу ничего делать... Теперь уже немного осталось. Ты скоро узнаешь все из официальных бумаг. Скоро. А на жизнь у нас хватит сил. Ты сама говорила: жить легче, чем переживать. А я буду рядом. Я хочу, чтобы ты смеялась...».

Женщине снится босоногая девочка верхом на лошади. Лошадь медленно ступает в воду. Разноцветные камешки на дне реки струятся сквозь прозрачные волны и распадаются под копытами. В белом, наполненном солнцем тумане, просвечиваясь, угасая, останавливаясь, плывут сиреневые столбы, голубоватые фермы моста, и, совсем близко, вздрагивают, сопротивляясь водяному потоку, упругие зеленые стебли.

Девочка ищет кого-то глазами, оборачивается назад, покачнувшись, вытягивает шею. Вдруг чье-то лицо рядом. И губы открываются, говоря что-то. Но нет ни единого звука. Ни всплеска. Ни голоса. Только знакомо двинулся, выгибаясь под тонкой кожей, треугольный кадык, вверх-вниз.

Женщина открывает глаза. Смотрит на фотографию мужа.

Федор Ипполитович чему-то смеется, приоткрыв рот. Кусок черной ленты на верхней стороне рамки оборвался и свисает вниз. Кажется, Федя сейчас вздохнет и лента всколыхнется от его дыхания. В углу рамки – маленькая любительская фотография: они вдвоем, взявшись за руки, стоят на вершине песчаного бархана...

Резко зазвонил телефон. Саша поднял трубку. Звонил Юрка, приятель:

– Привет, старина! Как жизнь? Кочуешь? Поздравляю.

Местечко ничего. Не жмет в плечах? Да, брось ты эти сантименты. Мебель поменяй, прежде всего. Шеф твой зану-да был насчет мебели. Как поменяешь, звони, приду к тебе пиво пить. Бокальчики, так и быть, куплю. А то ты не раскошелишься... Шучу... Ба! Здесь что-то интересное рассказывают... Подожди-подожди. Слушай, кошмар какой-то. Ты только это, не волнуйся. Жена Федора Ипполитовича в реанимации... Ночью бегала по квартирам и всех будила, кричала: «Дождь, дождь...». Насилу успокоили. А утром кинулись – нижний этаж водой залит – она ночью краны у себя пооткрывала... Увезли ее... Але?!

Он быстро набрал номер реанимации: «Реанимация? Меня интересует... – долго ждал ответа, дождавшись, не поверил и переспросил: – Умерла?»

Опустил трубку. Ни слов, ни мыслей не было. Только растерянность. Будто взмахнула крыльями над самым его лицом неожиданная птица... И улетела.

Чудо мое

Одесса. Улица. Мужчина.

Старый морской рыбак-капитан Семен Иванович двигался в сторону порта, привычным противолодочным зигзагом протраливая некоторые заведения и места, где могли бы оказаться друзья-знакомые. Так он пытался оттянуть время прибытия на судно, ибо ночевать на стоящем в ремонте траулере – тоска и неустроенность, и было бы счастьем кого-нибудь встретить и посидеть в компании. А вот уже и мост на перекрестке улиц Черноморского казачества, Приморской и спуска Маринеско. Близкая Пересыпь гудела и звала обычной предвечерней сутолокой, трамвайным металлическим накатом, сигналами машин и криками торговцев под мостом: «Чулочки-носочки... Цветочки, цветочки... Семечки, семечки, покупайте семечки... «Шаланды полные кефали...», – пел под баян высокий мужик в потертом пиджаке и без кепки. Кепку его, как кассу для пожертвований, держал одной рукой рыжий напарник, другую напарник артистично, от груди, разгибал вперед, как Ленин на сцене, но потом медленно опускал поперек движения на манер гаишника на дороге: «Давайте, граждане! Кто сколько может... Тетя! Тетя! Не на выпивку, тетя...». Оба, музыкант и кассир, совершенно трезвые, пританцовывали. Над их головами висел лозунг на листе ватмана: «Господа продали флот Одессы, а мы по-

строим флот Перессы!»

– Эй, морячок, не стесняйся тоже! – окликнул рыжий Семена Ивановича.

– Так я не моряк – я рыбак?

– Моряк рыбака видит издалека... Я не рэкет, не таможня – подкупить меня не сложно...

– А баянист твой может.

«...Еще ее мелькают огоньки¹...»? – баян резко сжался, фыркая воздухом из-под клавиш, и высокий мужик легко растянул его в новой мелодии: «В тумане скрылась милая Одесса...²».

Семен Иванович улыбнулся обоим, слушая слова песни и легко расставаясь с пятью гривнами: «Это же не рэкет – артисты!...»

Был какой-то кураж сегодня, и в этом баяне про море, и в этой толпе с работы, и в этом настроении, когда выгребешься с парохода, а дома нет. А музыка – и в душе, и на улице. И в каждой женщине, на тебя глянувшей... Эх, Одесса!

Только загляделся капитан и стал пристраиваться в кильватер миниатюрной мадаме в шляпке и с локотками прижатыми к талии, как она оглянулась – верная примета, что мужской интерес и кормой чувствует, – вздернула головку, и правый локоток ее отстегнулся, взлетая, потому как появилась необходимость поправить шляпку: кокетство жен-

¹ Слова известной морской песни.

² Слова известной морской песни.

ское... А у Семена Ивановича запершило в ноздре – аллергия на женский парфюм: бог шельмеца метит газовой помехой, можно сказать, мешает бравой атаке при выходе на торпедный залп. Эх, перекресток Маринеско и Черноморского казачества! Труба телеге, или достаньте, Сеня, носовой платок, апчхи!..

Семен Иванович, конечно, успел увидеть, что второй локоток дамочки тоже оторвался, как пуговичка, и дамская сумочка, прижимаемая прежде локотком к талии, вспорхнула птичкой за чьей-то рукой и нырнула в толпу так естественно, что даже шарканье ног и каблучков цоканье с ритма не сбились и хода не нарушили: тик-тик, как часики. «Ой!» – только и вскрикнула дамочка, будто споткнувшись. Оглянулась она на Семена Ивановича, а через мгновение – повисла на нем, как шарфик на вешалке: «Где моя сумка?!» – Он даже платочек в голубую клеточку от носа оторвать не успел. Но дамочка поняла уже, что у него ее сумочки нет, и попыталась отлипнуть. Однако, сменив гнев на милость, она просто распласталась и расплакалась на его груди. Тело и душа моряка горячо завибрировали на грани желаний успокаивать и ухаживать, и он засопел от важности момента.

«...Я вас держал, как ручку от трамвая...», – пел из магнитофона на прилавке мужской голос...

Пересыпь. Вечер. Одесса. Женщина и мужчина.

– Это вы здорово придумали, мадам, по моему фракку,

можно сказать, слезами мазать, – приговаривал Семен Иванович, осторожно выводя ее из толпы, обеими ладонями оглаживая ее маленькие пальчики.

– Сами вы к моей груди пристроились...

– Это грудь? Простите старого моремана, я полагал это самая приятная пристань, к какой я когда-либо швартовался.

– Посмотрите, какой галантный оказался, лучше б ты тогда за моей сумочкой присматривал, чем на мои ножки и каблучки пялиться.

– Что, так много пропало?

– Состояние!

– Сумочка-таки золотая была?

– Состояние души, морячок! Такой вечер испортили. Думала, пойду в загул, кутну на три рубля, может, понравлюсь кому-нибудь.

– Так ничего не потеряно: кутнем, гульнем, понравимся друг другу.

– Хватит трепаться, – она вдруг перестала бравировать и играть, – сумочка старая, ее давно менять надо было. Да в ней было триста гривен – месячная зарплата.

– Не густо.

– Теперь и того нет. Пусти. Не по пути нам, – она повернулась и шагнула с тротуара на асфальт.

– Стой! – Его окрик и скрип тормозов слились с матом шофера: «Ты! Мать... Я же на машине! Не затопчу, как петух курочку, а по асфальту размажу!» – Движение замер-

ло, и все повернули головы: шляпка катилась по асфальту, упала, и неустойчивый мужик с пивной бутылкой в руке по инерции и нечаянно оступился на нее ногой с тротуара, только пыль дорожная пыхнула. Дамочка глянула на раздавленную красоту, театрально качнулась, восстанавливая равновесие души и походки, и сказала шоферу небрежно, махнув рукой, как на муху: «А-а, мужики, вы так теперь слабо топчете, что лучше задавили бы сразу...» – «Ох, ха-ха-у!» – загудели и заулыбались вокруг одобрительно.

– А вам лучше не отрываться от меня, дамочка, – заворковал Семен Иванович, подхватил ее под руку и с нарастающей симпатией повел, куда сам правил. Она не сопротивлялась:

– Правда твоя, морячок. Нападение на меня сегодня какое-то. Веди меня, парнишка седенький. Мне, видно, выпить надо.

Но выбор ресторанчика она определила просто:

– Чтобы не далеко идти, не шумный зал и музыка хорошая... уж если тратить деньги, то там, где это приятно.

– И с удовольствием, – добавил он, на что она тут же поправила:

– С удовольствием, позже и чуть дороже. И, кстати, не надо меня путать: то дама, а то мадам. Возрастом моим меня не испугаешь, и сама давно не бунинская Лика, и не рыбачка Соня, а Таня, просто, Таня.

– Бунина знаете?

– Повторяю: я девочка давно и сначала советская, а потом

уже – перестроечная. Мастер спорта по акробатике и высшее советское – это в прошлом, а челноки, торговля на рынках, уборка квартир и песни по рюмочному настроению – теперь пришло...

– Прости. Я не хотел обидеть.

– Это и не удалось бы. Я из поколения, где отцы всю Европу сапогами промеряли, а матери по два – три мужика потеряли: по тюрьмам, по войнам, по морям и трудовым будням. И сама я, имей в виду, одесская вдова с двумя детьми. Дети взрослые, правда. Дочь работает. Сын в мореходке учится. А только горбатиться приходится на десяти работах. Вот – с работы иду, а через два часа на работу снова.

– Давай, не все сразу, – он остановил ее, тронув за руку, нервно мявшую салфетку на столе. Она смолкла, посмотрела, успокаиваясь, сказала просто:

– Поесть бы и выпить чуток. Иначе разревусь... Что-то я нервная стала сегодня...

– Не волнуйся. Кутнем, гульнем, понравимся друг другу...

– Местами поменяй. Я с теми, кто мне не нравится, за стол не сажусь.

– Хорошее правило.

– У тебя не так?

– На море принято: с теми, кто рядом – с теми надо и жить, и выжить.

– Тогда заказывай. Я согласная. Только мне обязательно

первое, а пить, что и сам будешь.

– Обижает. Ты же дама моя, – протянул через стол руку, взял ее пальчики и поцеловал.

– Ладно, не гони лошадей, – провела рукой по воображаемой прическе. – У меня когда-то такая фигурка была – закачался бы! – и впервые улыбнулась откровенно и доверительно.

– Я уже закачался.

«... Там были девочки – Маруся, Роза, Рая – и с ними Костя – Костя Шмаровоз...» – приплотенно шелестел магнитофон.

Через час пришлось, действительно, сниматься с теплого ресторанчика и двигать куда-то вверх, к современно отреставрированному особнячку, с решеткой-оградой, наружным освещением и цветами на клумбах, где ей предстояло отдежурить ночным вахтером. Но вид у нее был совсем усталый, а настроение – не рабочим, а потому Семен Иванович взял инициативу в свои руки и продуктивно переговорил с ночным шефом – тридцатилетним балбесом у ворот. Балбес обнимал двух девочек одновременно, а пересмеивался с третьей, стоявшей у двери охранного помещения. Шеф резюмировал кратко: «Гони дед двадцать гривен и забирай свою старушку до утра, мне все равно не спать, видишь, какая на меня очередь...».

Когда вышли из ворот, Таня доверительно потерлась лицом о рукав неожиданного ухажера: «Спасибо тебе, рыба-

чок-морячок. Как на свежий воздух вышли, буквально...»

Но город засыпал уже, и самим надо было искать место:

– Куда пойдём?

– Я сейчас позвоню подруге.

– Можем ко мне, на судно?

– Ещё чего?! Я тебе кто?! Подруге позвоню сейчас и все будет... Пойдем. Это рядом. Не поздно, не поздно! Там сегодня соседа их в рейс провожают...

Подруга, чистая одесситка, встретила просто:

– О-о! Танюха с самоваром и пиджак на плечах!?

– Самовар – это, надо полагать, я...

– Морячок гуляет и ухаживает?! Одобряю, как говорят болгары, – и сама себе подпела «Хороша страна Болгария...», продолжая высказывать радость. – Гости дорогие, да не с пустыми руками... – успевала вывернуть принесенные нами кульки, – о-о! По закуске и коньячку – наш человек! Заходите, бездомные, найдем коечку...

Дальше пошло-поехало. Крутилось – лица, окурки, тарелки, улыбки и взгляды, какие-то фразы, рюмки и тосты. Кто-то просил устроить кого-то в рейс. Кто-то рассказывал верный способ зарабатывать тысячу баксов. Кто-то приглашал в другую комнату... на улицу... поговорить... выпить... быть верным другом. Высокий красавец, черноволосый, в одной руке рюмка, в другой – потухшая сигарета, в зубах – фикса всех агитировал за пиво известной марки.

«Всем! – торопился сказать он, – всем надо ходить на эти их дегустации-презентации, там дают полный абзац: майка, пепельница, пивные стаканы и кружки, подстаканные салфетки – Фир-рм-ма! – все вот с таким лейблом! Бесплатно! Пиво – на шару! Мы с женой теперь и детей, и мою тещу с тестем – всех с собой берем! Надо! Это как на парад, как на демонстрацию при старой власти! Скоро – могут принять в члены клуба. Надо только собрать еще тысячу пивных крышечек. Нам ништяк осталось, да мне рейс помешал. Ничего, я этот клуб достану. Это уже – присяга! – Он встал, ковырнул пальцем в красивом зубе. – Наливай! В натуре! Такая жизнь начинается... За дегустацию...

Таня вошла из другой комнаты и оборвала неожиданно резко и насмешливо:

– Вам надо и собачку брать – ей тоже печать поставят... Дегустаторы дерьма! Какой ты моряк? Пробочник...

Кругом зашумели, засмеялись, возмутились. Хозяйка успокаивала. Кто-то икал. Громко упала бутылка... Таня наклонилась и тихо сказала, будто попросила о помощи:

– Пойдем отсюда...

И снова на улице было свежо и вольно. Она прижалась к нему молча, и они стояли так, будто никуда и ничего не нужно было.

Вдруг рассмеялась:

– Представляешь? Этот пивной лейблщик – это и есть, ко-

торого в рейс провожают. Зачем ему в море? Совсем я вас, мужиков, понимать не умею. Такие вы все разные...

– Тебя кто-то обидел? Подруги?

– Подруга. Говорит (о тебе речь, конечно): раскошелить надо, такой морячок должен золото дарить, понимаешь?

– А ты что же?

– А я говорю: он у меня сам – золото. Не веришь? Так и сказала. Только оставаться там не хочу больше. Ко мне пойдем.

– А я тебе кто? Соседи, вопросы, разговоры...

– Не язви. Мои проблемы.

– Я проблем тебе не хочу – пойдем в гостиницу.

– Не хочу в гостиницу. Женщина должна встречаться с мужчиной у себя в квартире. Это правильно... Размечтался, крепенький, а я не навязываюсь... Мне просто хорошо с тобой, и я боюсь, что в другой раз, я уже не сумею так доверять и расслабиться. Пойдем...

...В ее комнате было хорошо и уютно. Старые обои, старая мебель, старые лоскутные коврики... Окно светило ночным небом. Музыкальный центр из темноты серванта разноцветно подмигивал в такт тихого джаза. Женщина лежала головой на груди мужчины и говорила, шептала, чему-то смеялась и говорила снова:

– Что-то я разболталась с тобой, будто прорвало меня. А кто ты мне: хахаль? Любовник? Дядя в кителе? Чуде-

са и только. Вовик, муж-покойник, царство небесное, такой молчун был. С рейса придет, бывало, с утра припарадится и идет на Пересыпь, дружков угощать, пока все не пропьет. Ночью заявится – матери радость, она и борщ со сметанкой ему, и туфли с носками, от входной двери и до кухни разбросанные – все приберет, помоеет, постирает. Меня не подпускала. «Сынуля...» Первое утро после свадьбы я хорошо запомнила. Вовик спал – отсыпался. Я на кухню прошла, а там свекор со свекровью завтракали. Смотрю – второй столик на кухне стоит, откуда? Свекровь прояснила: ваш – сама готовить будешь, когда посуду и продукты купишь, больше у вас пока ничего нет. Сообразила я, кинулась в магазин за тарелками-ложками, крупы-масла... А какие деньги? Не успела с борщом к обеду. Вовик за маминым столом обедать сел... Но добрый был, когда хоронили, по всем забегаловкам мужики поминали. И сейчас, в обиду на дают, грех жаловаться...

Дочь умницей выросла, сама институт вечерний закончила, только с работой не сладилось. Мотается челноком. Не олигархи мы, сам видишь. Сын в мореходку баллы не добрал, не приняли. Только я поревела чуть, набралась наглости, юбочку покороче, блузочку откровеннее, траурную ленточку на шею, да на прием к начальнику, прямо от дверей к столу, грудь из декольте кулачками выдавливаю: «Не погубите морскую династию, – говорю, – дед боцман, муж старпомом умер, сама поваром на буксирах ходила, – и красуюсь

перед ним – морячка! Дедушка-начальник, седенький, душа к женщинам мягкая, я сразу это заметила, не устоял – приняли сыночку моего. Учится мальчик... Ой, не поверишь, я когда поварихой работала, неумеха была неумеха! Кашу варю, а она у меня из кастрюли лезет. Ребята уже стучат ложками, есть хотят, а я половником кашу из кастрюли и за борт, и за борт. А там дельфины прыгают и жрут-улыбаются мой рис недоваренный. Смеху-то!.. Смех и грех. Помню, в детстве, мы с мамой пропалывали огород. Я вижу зеленую веточку – деревце проросло на картофельной грядке, маме показываю: «Оставить? – Пусть растет. – Это яблонька или слива, мам? – Пусть хоть яблонька, пусть хоть слива. Спасибо соседке за брошенные в наш огород косточки...». Так жили.

– А ты не задумывайся. Не усложняй жизнь. Она сама разберется – куда тебя вынести, на какой берег. Ты, главное, себя не теряй. Видишь, красивая какая...

– Красивая, скажешь еще. Скоро бабкой буду. Руки, смотри, в морщинах все. С этой перестройкой забыли, о нас – бабах... Не целуй, не целуй. Не подлизывайся. Сам сегодня меня то мадамой, то дамочкой звал, сам путался... Я уж думала: тронутый морячок какой-то, не настоящий...

– Так и есть – тронутый. Жизнью тронут. Но тронут-то, заметь, с любовью.

– Заметила, – улыбается ему, – Бог с тобой.

– А это может быть самая сильная моя сторона: Бог со мной... Чувствуешь? Уже и тебе лучше...

– А яблочко хочешь? У меня яблоки есть. Сейчас принесу.

Он не успел ответить. Она вскочила, накинула халатик, повторяя с улыбкой: Яблочки... – А через секунду в коридоре загрохотало и запрыгало, как при землетрясении...

Он вскочил, натягивая брюки и выглядывая из комнаты.

Дверь в кладовку была распахнута настежь, оттуда катились кастрюльки и баночки. Таня барахталась на полу, пытаясь подняться, хватаясь руками. Над головой ее висел, как на складе, всякий домашний скарб. Яблоки катились из опрокинутого ящика. От ее неловких движений со стен поочередно срывались, висящие на гвоздях и веревочках, сумки, мешочки, свертки, связки...

Босой капитан в брюках, которые никак не хотели застегиваться, непонимающе оглядывал странно взъерошенные стены кладовки и, наконец, разглядел:

– А зачем эти гвозди?

Таня пыталась собрать с пола, но, услышав его вопрос, зашлась хохотом, села среди этой разрухи, пытаясь ладонями у лица унять нервные смех и слезы, и виновато пыталась объяснять:

– Туповатый мой! Это мое же изобретение! Вовчик полки не мог сделать, а кладовка нужна – вот я и навбивала гвоздей в стены. А на гвозди – кулечки, горшочки, тапочки – все, что у других на полках. Понятно, седенький?.. Брось это барахло...

Семен Иванович попытался собирать в кучу, но она рас-

сердилась вдруг:

– Брось, говорю! Не для того тебя на ночь звали. До утра еще уйма времени. Или отступить будешь, бравый?!

Он опустилсЯ, спиной по стене, присаживаясь рядом с ней:

– Отступить не буду.

– Сдаешься, парнишка мой?

– Может еще поборемся?

– Крепенький?!!

И оба повалились, смеясь и обнимаясь, среди пахнувших раем яблок...

Год спустя Семен Иванович отчаянно шагнул по трапу на одесский причал. За кормой был шабашный рейс, ибо сказано давно и не нами: уходить надо вовремя и «шабаш!».

Все изменилось в порту и на Пересыпи. Бабушек с корзинами разогнали с улиц. Цивильные ларьки, магазинчики, барчики, чистые «шопники». А куда делись уличные рэкетеры-баянисты с жестами вождя пролетариата? Кто вместо них? Откуда ждать теперь грабежа-нападения? Все устроено. Все – пристойненько.

Он завернул на остановку трамвая, в поисках цветов, и вдруг остановился настороженно. Что-то было тревожно знакомо. Две женщины поочередно спросили у продавщицы овощного лотка:

– Я могу морковку выбрать?

– Конечно, дамочка.

– И я выберу, – потянулась рукой другая.

– Конечно, мадам.

– Почему она – дамочка, а я – мадам?!

– Я же вижу, кто как морковку держит...

Семен Иванович узнал бы этот голос и через тысячу лет, и глянул улыбаясь. Продавщица была «наша девушка», в том смысле, что сразу почувствовала мужской взгляд и повернула голову:

– Сеня?! – и растерянно потянула вверх руки в грязных овощных перчатках. – Сенечка, – засмеялась мечтательно. – Ты сдаваться пришел?

Он только кивнул в ответ и улыбнулся. А по ее лицу текли слезы, и расплзлась дешевая тушь. Но она смеялась:

– Чудо мое...

Бетта

Это был курортный роман.

Банальный, как миллионы других романов, случающихся во все времена и во всех солнечных местах мира, где уютно, тепло и тихо. Где музыка таится в тишине и в бликах неба по стене и полу. Где все события – кран капнет, машина скрипнет тормозами и дверцей хлопнет, кого-то выпустив. Шмель в комнату влетит, как гром на крыльях, но спрячется за тиканье часов на полке. То летний дождь прошестит по листьям и каплями блеснет на подоконнике. То чей-то разговор, как мясо на шампур, нанизан на шаги в саду. И съеден тишиной опять. Симфония. Струится ветерок в раскрытое окно, а потолок – вздыхает. Контрабас. Все – ждет и слушает. Вот скрипка – хочет жить, а плачет. Устав с дороги, сумка на полу раскрыла рот. Одежда разлеглась на стуле, на столе, на пол упала. Все – шепчет, шамкает какие-то слова, мелодии. Вздыхая и смеясь. Руками листовных ветвей в окне и ликом облака, похожего на обезьянку – все грезит про любовь. Грозит. Заманивает. Соблазняет. Дразнит. И нагло-нагло нас толкает к этому соблазну. Жутко приближаться. Как к пропасти. И видишь этот край, панически предчувствуешь паденье. Но – ужас! – приближаешься к нему, как глупый лягушонок в пасть удава. У змей – улыбка на лице, заметили? Вот жажда жизни: там, где смерть –

улыбка...

Это был курортный роман.

На мгновение только. Потому что нельзя жить на бегу, задыхаясь друг другом, не есть и не спать от ненасытного голода поцелуев и ласк. Любовь тела должна отдыхать, меняясь на любовь разговоров и мыслей, доверия и покоя. Прятаться в игру. Любовь, как игра. Или игра в любовь. Или просто игра, в чью-то жизнь и чужое счастье. Но жить каждый день только нотой любви – все равно, что тянуть на одном выдохе: а-а-а... Кто выдержит? Да и зачем? С годами и ласки – нежнее и вскользь. В годах и заботах любовь растекается в страх, что кто-то уйдет раньше, а другому останется жить, вспоминая последнее слово, последнее соприкосновение на тесной кухне, чай на двоих или свечечку на серванте, как закладку в пушкинском томике: «...Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я...». Рай – это другая сторона ада. И только любовью в нас – снова и снова звучит скрипка, и вечность – замирает и слушает...

Это не положишь, как могильный камень. Это остается, как река или плеск моря. Жить.

А говорили – «курортный роман...».

Каждый из них заполнил его своими воспоминаниями. И каждый сожалел, что, оглядываясь назад, мог вспомнить только незначительное, будто слова из случайной книжки: «родился... умер...». Как из чужого рассказа. А что можно вспомнить, когда только дышали, дышали, дышали. Торопи-

лись и бежали друг к другу, торопились. Торопились к концу жизни? Не заметили, как состарились. В этом – вера, надежда, любовь и... долгое ожидание. Прибежали. В одиночку умирают быстрее...

Он помнил. Всем телом он помнил и ощущал те далекие дни...

...Капли дождя текут по моему лицу. Мне кажется, я бегу в небо по точечным ступенькам падающих к земле капель. И весь – мокрый. И купаюсь в воде. И плыву в воде. И качаюсь. И берег, и горы покачиваются на волнах. И небо голубое качается, никуда не спеша. Я уже знаю, где я и когда это со мной было. И выползаю на берег. Молодой. Гибкий. Девятнадцати лет. И иссыхаю, как воздух. Медленно. Качается голова в такт раскачиванию гор и опусканию неба... Качка. Запах бензина и аппетитно съдаемого за моей спиной персика. Пыль, фонтанчиками бьющая с пола автобуса. Оранжевая тьма болтающейся на окне занавески. Муха, пикирующая из облака занавески в стекло. Дрожание этого стекла, отчего и поплывшая за окном груша, обвешанная плодами и пылью, мелко тряслась, как в тике. Но ни плоды, ни пыль не сыпались. Тормоз. Пыль за окном обгоняет автобус. Издалека, как из тоннеля, голос водителя: «Остановка. Туалет. Базар по-кавказски...».

Толстые листья грецких орехов висят над головой. Сухая земля прогибается под тяжестью неустойчивых ног и теней.

Черноглазые базарники освещены желто-зеленым лиственным светом и тоже похожи на пассажиров автобуса. Спелое разноцветье овощей и фруктов горками рассыпано на длинных деревянных столах. Старые доски исцарапаны и исписаны словами, бегущими из-под яблок и винограда, как пауки... На счастье.

Светлая дорога уходит вверх. Над ней – каменная церквушка, без стены и крыши, как раскрытая иконка. Провисшие нити проволоочной изгороди подцепили зеленый занавес пригорка, и нарисованная на нем корова медленно перебирает ногами, постепенно закрывая собой и зеленую траву и церковь.

Горы поднимаются с трех сторон. Глубокое пространство справа, все в лиственном узоре сада, стало расступаться, и в такт шагам над ним взмахнуло, оголяясь, сабельное лезвие атакующего моря. Серебристо ликующего и большого. Набегающего на меня...

Осторожные и многочисленные туристы – с надувными матрасами, сетками, детьми и полуодетыми женами – вереницей тянулись вниз по ступенькам выложенной из пластов дикого камня лестницы.

Заросли дуба и кизила, все более густые к глубине ущелья, обтянутые зеленою плющом, мелкого винограда, шиповника, глета постепенно нависали над тропой, оттеняя ее ровным зеленоватым мраком. И редкие солнечные лучи были издали заметны на камнях слепыми пятнами или прожектор-

но пронзали сверху внезапным светом, как яркой шпагой. Пахло влагой, сыростью, травой. И становилось тише. Крик цикады в этой тишине занозил и сливался с писком комара над ухом. Тропа змеилась меж стволов и веток, солнца, паутины, бархата камней и мхов, упругих корневищ, пружинно разорвавших землю и высоко подбросивших стволы и стебли. Как высоко над головой, как далеко кусочек неба. Маленькая ящерка смотрела одним глазом, задрав узенькую головку...

Иная душа не выдерживала долгого лесного мрака и – прочь от уютных ступеней! – ноги сами шагали в хрупкую неразделимость травы, цветов, подозрительных шорохов, вспорхнувших, но так и не увиденных глазами птиц. Руки упирались в шиповник, листья били в лицо и неожиданно, как бутон, раскрывали плен и давали взгляду насладиться снова высотой и пространством. Тогда опять были видны горы, горы, сонный уголок ущелья, лагерные палатки с флагами одежд на оттяжках креплений, неустойчивый столбик дыма, утыканный разноцветными зонтиками галечный пляж, который отсюда, сверху, скорее напоминал белую с яркими ягодами тарелку, наполовину под лапами и языком моря, лениво облизывающим ее.

И не казалось удивительным беспокойное желание увидеть, угадать, придумать. И ты была придумана воспаленным воображением задолго до первых слов, до первого взгляда, как мячик прыгающего среди плавающих лиц... Тогда еще,

когда море увлекло от пляжного шума, от женских голосов, от скрипа уключин спасательной лодки за оранжевый буй, за мыс, с игрушечной, как божья коровка на камне, красной крышей над обрывом... В заманчивую границу из безветренной глади в нервную рябь открытого моря, где глубина становится черной и вязкой, и ноги пугливо рвутся к поверхности, кипящей от горячего ветра... Вода извивается, тысячами холодненьких змеек кусая сопротивляющееся тело... И вдруг – все необозримое море заворочается с боку на бок, словно возмутится, что я его оседлаю, и первая настоящая волна выскользнет из-под моих ног с наглой невпроворот силой...

Я плыл уже к берегу. Усталость и удовлетворение были в каждом движении разгребаящих широко в стороны рук. Ноги сами вытягивались, вдавливая острое тело в шелестящий поток разрезаемой воды. Голову я не поднимал. Глаза, привычно раскрытые, проникали туда, где стайки живых рыбок расчесывали купающееся солнце. Вскоре выплыло дно. По коричнево-красному вздоху морской травы, отделившемуся от голубого песка и желтых дыряво-ракушечных камней, скользнуло, проваливаясь в расщелину и распадаясь на множество плавающих отдельно и снова собирающихся кусочков, мое неустойчивое отражение. Вдруг такая же тень раскорячилась рядом. Ударился головой! Увидел испуганное лицо, стянутое по краям к подбородку бело-резиновой шапочкой. Одной рукой девушка потянулась потрогать большое

место – от руки брызнул серебристый дождь.

– Простите, – выдохнул я, опережая ее раздражение. Но она резко нырнула, под водой поворачивая ко мне исчезающее лицо, и, плавно вытянувшись, стремительным кролем пошла по моему еще не потерявшемуся на воде следу в открытое море.

Оглядываясь, я доплыл до берега. Яркое солнце текло по волнам и прятало тебя. И все мне мешало: голые ноги поперек пляжа, купальники, шляпки, лица с арбузными корками или вареной кукурузой в зубах... толкнувшее меня платье с огромными желтыми цветами, вылезая из цветов спина, спина в купальнике, спина без купальника... губы, наполняющиеся помадой... губы, разглядывающие себя в зеркале... круглые черные очки на лысине... щеки и уши, надувающие резинового крокодила... прямо на песке, как тень, длинное женское тело без головы – вместо головы на плечах сидит девочка и ест яблоко...

Вечером снова пришел купаться. Народа было поменьше, и я пошел по берегу, вглядываясь в лица, пока не оказался на самом мысу, где и вовсе почти никого не было. Продолжая оглядываться, но уже без надежды, сбросил рубашку, туфли, джинсы, громко ударившиеся о камень пряжкой ремня.

Море уже успокоилось, и было послушно и ровно. Моя собственная голова цветным отражением плавала у моих ног, и жутко было бы наступить на нее. Белые кольца играющих в карусель бабочек тоже тонули в воде или в небе, по-

крытом прозрачной водой. Из-под мохнатого зеленого камня выдвинулся, ничего не нарушив, подводный краб. Устался на меня сквозь отражение облака.

Золотисто-зеленый хребет на другой стороне бухты погрузился в тень ближайшей горы. В двухэтажном корпусе наверху, как в волшебной лампе, загорелись стекла. Там же, на территории дома отдыха, дважды просигналил автобус. Из-за мыса неожиданно вышел прогулочный катер, решительным салютом развесив в небе мелодию танго. И эта громкая музыка сразу изменила все. Вместе тонкой и непрерывающейся волной от катера к берегу покатилося напоминание о близком вечере, огнях, танцах – многообещающие соблазны летнего взморья.

Исчезли бабочки и краб. Я тронул рукой воду – сморщились облака и лицо. Наклонился и поднял зеленый мохнатый камень – краба там не было. Выпрямился. Пошел в воду. Краем глаза заметил слева женскую фигуру. Вдруг что-то мелькнуло – остановился и посмотрел внимательно: она надевала белую резиновую шапочку. Почувствовала взгляд и посмотрела на меня. Я показал рукой на мою голову, машинально вспомнив про столкновение в море. В ответ – она повертела пальцем у виска: «сам дурак!» И побежала по песку, по воде, споткнулась, упала, брызгая во все стороны. Но вдруг встала опять, вода была чуть выше колен, теперь внимательно меня разглядывая, и сказала спокойным, разделившим вечерние звуки голосом:

– Я сначала не узнала вас. – И так откровенно улыбнулась, что я, как счастливый болван, зашлепал по воде к ней. – Конечно же, это я, – продолжала она, указывая на свою голову, и сама рассмеялась нелепому смыслу жеста.

– Вы одна здесь?

Она оглядела берег, стягивая с головы резину и освобождая волосы, и опять улыбнулась:

– Нас, кажется, двое. Но больше никого нет...

Медленно одевает спину и плечи в вечернюю воду. Черно-золотистую. Плышет. Тоже плыву. Вижу опущенные ресницы, полуоткрытые губы в ярких капельках, зубы, осторожно надкусывающие край моря. Море совсем маленькое. Близкий горизонт зарябило от моего дыхания. Большое оранжево-голубое с короной облако приблизилось. Кажется, ударимся головой. Но долго плывем под ним... под небом, меняющим голубое на синее, на котором серебрятся или вспыхивают золотом яркие звезды...

Потом была длинная ночь. Самая длинная и самая удивительная. Мы лежали среди бусинок берега. Наши ноги из общего нашего тела, наши спины и локти (будто стали мы с нашим объятием больше, чем каждый из нас до встречи), распростерлись на галечном ложе. Море тщетно пыталось укрыть покрывалом выбегающих на мелководе волн наши плечи и руки. И снова отступало. Золотая Луна освещала дорожку на воде, твои бедра и мокрую грудь. Звезды стекали с твоего лица, путались в волосах, блестели на губах... Звез-

ды. А губы искали друг друга, и соленая морская влага делала поцелуй вкусным и желанным. Два дельфина совсем близко плавали и вздыхали громко, будто делали тяжелую работу. Фыркали, распугивая рыбу и дразня нас. Или призывая к себе. Или забыв и про нас, и про рыбу, и тоже наслаждаясь луной и морем. Луна сияла. Хотелось запрокинуть голову и увидеть высокий обрыв берега, уходящий вверх, тоже освещенный, будто облитый серебряно-золотой влагой. Высоко-высоко в лунном небе бежало облако, а маленькая сосна над обрывом, утопала в этом облаке, как девочка укрывается в мамину шубу, смеясь и мечтая о взрослом...

Постепенно – усталость и удовлетворение... Близость утра. Совершенно притихшее море. Уплывшая тайна дельфинов. Поблекшие звезды. Громкий цокот прыгающей по камням чайки и глаз ее в нашу сторону. Струи тумана и сосенка, летящая над скалой – куда?.. Словно она заблудилась. Вдруг – стало прохладно. Я шевельнулся, меняя положение тела. Захрустели, щелкая, мелкие камешки. Плеснула волна. Глазастая птица – взлетела. Другая, невидимая, запела над нашими головами. Все – нас будило и звало, радовало и пьянило. Захотелось подняться, идти, двигаться... Смеяться! Говорить громко!.. Смеяться? Чему? Чему мы смеялись? О чем говорили? Тебе захотелось бежать в гору. Карбкаться. Скользить, но бежать вверх: « Я хочу это утро встретить на вершине горы! Первой увидеть солнце! Осветиться и освятить! Это утро! Тебя! Нас! Ты хочешь? Ты хо-

чешь сказать это в лучах солнца: «Согрей меня! Полюби меня! Останься со мной!?. Можешь сказать?..». – И мы бежим вверх. Падаем, скользим и цепляемся. Тропа опадает из-под ног, как веревочка с неба. Вниз – сыпятся камешки... звуки... пот капает... Внизу – шелестит и вздыхает – море ли... утро ли... Травы блестят росой и скользят под ногами. Ты бежишь впереди. Смеешься и дразнишь. Запыхиваясь, успеваешь подставить губы и снова торопишься вверх: «Только бы успеть! Я хочу успеть!» – хватаешься за ветви куста, за ствол дерева – сыплется роса, как дождь. Мы оба смеемся и лезем вверх. Обувь, мокрая от росы и от влажной земли, грязная. Тропа над головой уже освещена ярко и пронизана небом. Вершина совсем близко. И утро совсем близко. И ты – твои губы, улыбка, глаза, дыхание и запах твоих волос – все было совсем рядом. Но бежишь от меня. Дразнишь. Зовешь. Заклинаешь. Ты – шаманка и жрица, ты – роса на моем лице, ты – голос далекой скрипки... Я бегу за тобой! Как громко закричали птицы. Как качнулась и вспыхнула паутина над тропой, пронзенная светом солнца. Как треснула ветка под моею ногой... И как ты закричала: «Мы успели! Успели!!!» – ящеркой выскользнув из тропы на вершинный камень, выпрямляясь на нем, как пружинка, все выше и выше! Вытянула вверх руки и обернулась ко мне. Ты не могла этого видеть еще, а я уже видел, что ладони твои загорелись на солнце. И руки. И волосы. И ты вспыхнула вся, как свечечка...

Мы лежали-летели на вершине горы весь следующий

день, как на облаке.

На губах до сих пор не остыли твои поцелуи.

Потом было много и дней и лет.

...Я сижу у входа на пляж. В трех шагах от меня питьевой фонтанчик и наша девочка пьет, став на цыпочки и старательно надувая щеки. А глаза ее продолжают все видеть вокруг. Вдруг отскакивает и бежит, хлопая в ладоши и пытаясь поймать бабочку. Вместе с бабочкой убегает в синюю стену моря... Возвращается: «Я еще немного попью, мама!», – кричит, оглядываясь... Мы втроем уже идем к морю, держа в руках эскимо осторожно, как свечи... – «Мне нужны эти фантики от мороженого, бабушка... Ой, смотрите какой жук сидит на дороге... Дедуля, вы с бабулей должны мне помочь, расскажите, как все бывает...».

Как все бывает?

Много лет уткло. И ничего больше не было, кажется, кроме нескольких дней... Повзрослели и дети, и внуки. Ты ожидаешь меня на вершине, будто никогда не спускалась с нее. Любовь познавательнее, чем само познание, сказал, умирая, мудрец...

...Я слепо иду над самым обрывом. Сосны толпятся на гребне. Заглядывают в пропасть. Одна наклонилась почти горизонтально, повисла на медленно разгибающихся корнях, будто готовясь к прыжку. Тень ее уже долетела до воды и плавает там пушинкой. Волны кажутся маленькими

и прозрачными, чуть прикрывающими коричнево-голубое дно. Крошечные фигурки пловцов барахтаются в этой пустоте, падают, цепляясь за ниточку береговой пены.

Паучок спускается с неба. Качнулся от моего дыхания и полетел в сторону. Молния-паутинка потянулась за ним.

По зеркалу моря опять бежит катер. От него катятся, разбегаясь в разные стороны, и никак не могут разделиться, две тоненькие волны, как руки в распахнутом танце...

Ты ждешь, когда я подойду и помогу тебе встать и идти вниз. Ты сердишься на себя за свою возрастную слабость, за свое слабое зрение, за свое нежелание есть персик, вернее, заедать им таблетку... Я держу тебя под руку. Мы стараемся идти в ногу. И, наверное, кажемся со стороны неуклюжим и медленным существом.

– Какая я стала нерасторопная, – говоришь и улыбаешься виновато.

– А мы куда не торопимся, Свечечка...

Игра

А жизнь имеет тот смысл, какой вы сами ей придадите. Хоть бабочек ловите.

Игра

Родон Герасимович Плексигласов толкнул наружу дверь передвижного вагончика,

вдохнул, счастливо щурясь, полную грудь раскаленного солнцем воздуха, сморщился, пережевал и выплюнул вслед пропылившему блоковою цементную муть.

– Товарищ прораб! – окликнули.

Он повернулся. С удовольствием выругался, не стесняясь смотревшей на него красавицы:

– Чтоб твою пылевоза мать!.. – Кивнул. – Как дела, Маша? – И совсем уже громко. – Чего там?!

Шагнул по земле: голубые джинсы, белая рубашка, белые с красными полосами бегунки на ногах; улыбка – белая бузина в толстых вывернутых губах.

Людей не обходил. С удовольствием ждал: уступят или не уступят дорогу. Кого-то хлопнул по плечу:

– Как дела, Коля?

– Я не Коля, я Саша

– Не сердчай, Саш. Так надо, Сашок. Начальству положено интересоваться: что? как? Ошибся – не велика беда, – зато внимателен. Я в трест приезжаю, меня и Кириллом, и Васей, и Львом Парамоновичем зовут, а я улыбаюсь: согласен. Так-то, Сашок. Закуривай.

– Товарищ прораб!

– Иду-иду.

У растворного узла два бригадира отгоняли друг друга от самосвала с раствором.

– Карафулиди! В чем дело? – легко перепрыгнул через траншею под фундамент и подошел к черному в желтой майке Карафулиди.

– Последний раствор... Песок кончился... Ты товорыл, последний раствор мой будэт... – слова сыпались барабанной дробью.

– Не горячись, – потрепал старика Карафулиди по плечу, – разберемся.

– Но...

– Молчи, Зайцев. Я тебе что сказал? – заговорщицки подмигнул Карафулиди. – Незамэтно возьмешь, твой будэт. Не сумэл? Молчи тепэр.

«Нет, – самодовольно думал Плексигласов, шагая по участку и разглядывая беспорядочно разбросанные по строительной площадке кирпичи, блоки, доски, – нет, дурак был великий комбинатор, что пошел в управдомы. Милое дело – прораб».

Уже у вагончика его опять догнал Зайцев:

– Родон Герасимович, мне-то что делать. Шесть человек стоят. Действительно, шестеро стояли за спиной Зайцева.

– А-а, – почесал затылок. – Слушай. Найди где-нибудь экскаватор. Вот так надо, – провел пальцем по горлу.

– Где я его найду?

– Найди. Точка.

– Экскаватор найти сейчас... это червонец, – недовольно начал кто-то из шестерых.

– Что-о? – Плексигласов от неожиданности даже закосил на один глаз. – Я вам сколько закрыл в том месяце? Мало? Другие дугой выгнулись – столько не получили.

– Да я ничего.

– Ничего... то-то. Мастер! – крикнул в окно вагончика. И тотчас черноволосый парень выскочил на крыльцо. – Ты почему не обеспечил бригаду раствором? – Плексигласов постепенно повышал голос. – Почему бригада стоит?! За чей счет им закрывать наряды?! Молчишь? Сопляк, понимаешь. Не подскажешь – ничего сам не сделает. – И уже спокойно, почти устало, – иди, Зайцев, иди. Сообрази там... – Поднялся на крыльцо, подталкивая за плечи мастера.

Вошли. Плотно закрыл дверь. Оба расхохотались.

– Ну и артист ты, Родон Герасимович.

– Так надо, – развел руками. – Принял меры. Подстегнул мастера. Мы же понимаем друг друга, а? – Довольно потер руками джинсовые ляжки. – Я еще и не то могу, Славик. –

Подмигнул. – Короче, мне в одно место надо по делам... – Растопыренной ладонью покрутил у виска, будто завел воображаемую пружину. Прорекламинировал.

«Нам солнца не надо – нам партия светит. Нам хлеба не надо – работу давай!»

– Родон Герасимович, сам придумал? – восхищенно спросил Слава.

– Что ты! Что ты, Слава! Я только присматриваюсь к общественной стезе... В общем, я пошел. А ты работни как-нибудь... Привыкай принимать самостоятельные решения.

Компания была сбитая. Видно, не впервые собирались вместе.

Роль Славика определил Родон:

– Ты, старик, сегодня ухаживаешь за этой девушкой. Идет?

– Маша меня зовут.

– Значит, Машенька. Очень приятно.

– Ты смотри, какой шустрый. В отца пошел. У него отец в пятьдесят шесть ушел к другой женщине. По любви. – Родон со значением поднял палец и рассмеялся. – Не обижайся, старик, – хлопнул по плечу. – Это я больше для Маши. Предупредил, так сказать. Танцуем, друзья! Музыка!

«Я спросил у ясеня, где моя любимая...». – И что же вы теперь, живете с матерью?

– Да.

Было приятно танцевать с ней. Спрашивая, она смотрела ему в глаза, чуть откидывая голову. И хотелось погладить и выпрямить вздрагивающую спиральку волос у нее на виске.

– Извините, вам, наверное, неприятно, когда говорят об отце?

– Отчего же. Нет вовсе... Я странно отношусь к нему, будем еще танцевать? – Вы хотите?

– Очень хочу. Только я ничего не могу, кроме танго.

– Стоять и покачиваться мы можем под любую музыку. Кому какое дело. – Спасибо.

– Глупый.

– Я не глупый.

– Извини.

– Это ты меня извини. Я бываю неловким.

– А бываешь и ловким?

В ее вопросе он уловил скрытый вызов. Смешался и торопливо поцеловал ее в зеленоватый от света торшера висок. Она чуть помедлила, потом прошептала:

– Не надо сейчас.

– Угу... – Их глаза опять встретились. – Ты красивая.

Она усмехнулась.

– Отец интересный мужик был, – сказал, чтобы что-то сказать.

– Почему был?

– Как-то привык так, – пожал плечами. – Он в ар-

мию с пятнадцатью лет ушел. По комсомольскому набору. Но службу считал хотя и важным, но не главным делом в своей жизни. А главным для него было участвовать в большом государственном строительстве. Говорил: «Страна коммунизм строит, а я в армии задержался». И учился у новобранцев любому ремеслу: «На гражданке пригодится». Он все мог: сшить костюм, переокрасить пальто, привить черенок на яблоню, сделать табуретку и даже построить дом... Конечно, бывали курьезы. Мама как-то лежала в больнице, мы одни с ним остались, как раз на Первое мая. Он говорит: «Испечем пирог и печенье на праздник. Порадуем мать». Я, конечно, засомневался, а он: – «Я старый солдат...». Короче, надел белый фартук, – он все любил делать красиво, – засучил рукава, взял самую большую миску и вылил в нее трехлитровую бутылку молока. Насыпал муки, помешал – жидко. Еще подсыпал, помешал, снова подсыпал... В общем, сколько дома муки было, столько и высыпал, а все равно жидко. Послал меня у соседа одолжить, потом у другого соседа... Уехал я в школу, вечером приезжаю: на столе гора печенья. И на холодильнике гора. А он говорит: «Еще два противня и все!». Доволен собой. Я обалдел. Попробовал – не могу раскусить. Говорю отцу: «Твердовато». Кивает: «Да, твердовато, но это хорошо. Не испортятся». «Ну, а пирог?» – спрашиваю. – «Еще печется». Поверишь, пирог этот пекся ровно полдня и ночь, а утром его выбросили собакам вместе с кастрюлей...

– Забавно. А что у него произошло с матерью?

– Понимаешь, я много об этом думал. Это даже не столько с матерью... Он ведь почти тридцать лет в армии был. Вышел на гражданку, с этого и началось. Мотался с одной работы на другую и отовсюду со скандалом уходил. Ему казалось, его не понимают, обижают, или он не понимает в этой жизни что-то. А причина в том, что он очень честный. Лично ему ничего не надо, пенсия у него хорошая, чужого брать не привык. Завидовать тоже не приучен: солдат солдату не позавидует. А тут: одному доски нужны, другому шифер, третьему просто с работы уйти. У нас ведь как: «Петрович, нужны гвозди». – «Нема гвоздей». – «Да мне домой, чуточку». – «Там в углу ящик, выбери». – А отец на каждом собрании выступает, за честность ратует. Ну, однажды ему и вlepили: легко, мол, быть принципиальным, когда у тебя дом есть и пенсия, и жизнь прожита, и ничего не хочется. Отец просто заболел после этого: «Коммунизм строим, а я со своей принципиальностью всем мешаю? Может, что-то во мне не так?». И убедил себя, что действительно жил не так, как страна живет. А, следовательно, и с семьей не так жил. Вот и решил: «Начну вес сначала. Один буду жить. Может, с прежней жизнью найду концы – завяжу узелок». Мать, конечно, поплакала и смирилась: пусть так побесится, другие вон пьют да пьют...

– Странно. Родон о нем совсем другое говорил.

– Родон? А что он может знать! Он про себя говорил: «Я

технарь. Все остальное для меня игра».

Слава вдруг оживился.

– Вот послушай. Его однажды хотели прокатить на собрании. Может, заранее сговорились, не знаю, но получилось дружно. «Вы, Родон Герасимович, не вверх растете, а в землю. Корешками обрастаете. Только кореша у вас скользкие...». В чем только не обвиняли: в мошенничестве, приписках, халтуре... Я думал: хана ему. А он всех внимательно выслушал, встал и говорит: «Что за непонятная кругом мода: начинает на собрании один хвалить – и все хвалят. Начинает ругать – все ругают. Но это я так, к слову. Теперь обо мне. Участок у нас трудный, но по показателям второй в тресте. Текучка невелика – заработок держит. На каком еще участке такой заработок? Политучеба и агитация – на уровне. Чья заслуга? Я думаю, и моя тоже. Но вот я вас послушал и понял: много еще надо работать, многое исправлять, о многом думать...». Про какую-то колонну вспомнил, разбитую при разгрузке, про раствор, который ночная смена вывалила в кусты, целый самосвал... А закончил и не поймешь: то ли покаянием, то ли призывом к новым трудовым свершениям. «Время, товарищи, сейчас стремительное, тесное, – сказал. – Задачи, обязанности – все требует внимания, риска. Рискнешь потерять премию, репутацию, потерять себя! И вот в такой сложный, ответственный момент так необходима уверенность в коллективе, который подскажет, поправит. Сегодня я могу вам сказать: у нас такой коллектив есть!

Спасибо этому коллективу!» – Все опешили... и начали хлопать. Артист!

– Тебе не кажется, что мы остались одни.

– Действительно. – Слава покрутил головой. – А куда все делись?

– Наверное, ушли. – Маша улыбнулась.

– Что ты смеешься?

Он опять поцеловал ее в висок. Она подняла глаза и потерлась щекой о его подбородок.

Плексигласов плотно закрыл за собой дверь вагончика.

Вернулся к столу, за которым сидел понурый Слава.

– Да что с тобой? Что случилось? – Родон подождал ответа, но Слава молчал...

– Да говори же! Дома что? С матерью? С отцом, может? С отцом, да?

– Отец домой пришел ночью. Сам-то я утром вернулся. Радон хмыкнул, что должно было означать: «Мне ли не знать, когда ты вернулся».

– На работу спешил, минут десять и поговорил всего.

– Ну и болван. Мог бы задержаться сегодня, раз такое дело. – Помолчал. – Что с отцом? Заболел? Деньги нужны? Да что я из тебя как жилы вытягиваю!

Слава поворачивается, смотрит Родону в лицо.

– Ему с работой помочь надо. Увольняют его.

– Что значит – увольняют? Пьет, что ли?

– Нет.

– Прогуливает? – Слава отрицательно мотнул головой. – Тогда не так просто человека уволить. Я сколько работаю, уж таких оторвил встречал – их не увольнять, а выгонять надо с треском, – но попробуй! Они в местном и в горком, и на тебе же, в конце концов, отыграются. Самое лучшее, если «по собственному желанию» уговоришь. Сначала сам ему работу найдешь, бутылку поставишь, разопьешь с ним, и под это дело уговоришь. Дескать, работа есть мировая, только тебе, как корешу, могу устроить. Ну и устраиваешь.

– Ему тоже по собственному желанию предлагают.

– Так это другое дело. Нет проблем! К нам и устроим. Учетчиком на карьер. Работенка не пыльная. Когда машины будут, скажешь ему, он выйдет. А не будет машин, так и выходить не надо. Для пенсионера работа. Себе берегу.

Слава тяжело поднимается со скамьи.

– Приходи сегодня вечером к нам. Поговоришь с отцом. Ты его, кстати, видел?

– Нет.

– Ну, вот и познакомишься.

– А что такое?

– Увидишь.

– Это я пенсионер? Меня учетчиком? Ха-ха! Ну, даешь. Гляди! – Славин отец, сухой, поджарый старик с военной выправкой, легко соскальзывает со стула и делает на нем стойку. Снова встав на ноги, тяжело дышит. – Я, брат, еще и тебя

переживу. А уж костлявую с косой... – он делает жест, будто хватается кого-то за горло. – Ха-ха!

Слава и Родон слушают без улыбок. Мать вышла на кухню.

Отец, отдышавшись, садится. Говорит:

– Не в этом дело, уважаемый Родон Герасимович. – Разливает водку по рюмкам. – Я по глупости своей устроился в эту художественную мастерскую, нелегкая меня дерит. Мастером по сбыту. Они делают, а я продаю. Первый год ничего было. Посудка всякая, статуэтки, кувшинчики, вазочки, пепельницы – разное барахло, короче. Но и красивые вещички были, не буду зря хаять. А в том году разрядка пришла на мастерскую: делать бюсты. Думаешь, женские? Не-е, всяких философов, полководцев, одним словом, деятелей. Причем, любых размеров: от карманного, вот такусенького, до во-от такого. Я думал – кинется культурная публика. Дудки! Ну, в школы там... много ли надо? Короче, план по реализации не выполняем. Что делать? Руководство мастерской долго мозговало, прикидывало так и этак. Решили двумя путями идти. В этом году план не выполним все равно, но хоть на следующий год переориентировать производство на прежнюю продукцию: вазочки, пепельницы. Первый путь – жалуются. Во все инстанции. Пишут. Ездят. Поют, кого надо. А то и памятник сделают – тоже, кому надо... А второй путь – запасной вроде. Оправдываться в невыполнении плана надо? Надо. А как? Чтобы премии коллектив не ли-

шили, чтобы кого из руководства не турнули – причина нужна. Выбрали меня. Я пенсионер, терять мне, дескать, нечего. План такой: грузу всю продукцию в вагоны и отправляю во все концы страны. На деревню дедушке. Фиктивным заказчиком. Заверяю администрацию в полной гарантии выполнения плана и увольняюсь с работы по собственному желанию на заслуженный отдых. А они на меня потом все вальят. Оправдываются. Вроде бы! Такая тушенка...

– Ну, мудрецы! – Родон откровенно хохочет. – А лучшего ничего не могли придумать?

– Не придумали, – старик долил в рюмку. – А я уже все, отдумался. Без парашюта лечу. Летал без парашюта? – Опрокинул рюмку, зажевал соленым огурчиком.

Долго молчали. Отец потянулся за гитарой. Снял со стены. Несколько раз провел по струнам, прислушиваясь. И запел тихо:

*Полетели к земле,
Как дождевики дождя,
А в предутренней мгле
Там никто нас не ждал.
И не выдержав тяжести,
Рвалась земля
И шептала:
Все ляжете
Скоро*

В меня.

Сапоги. Сапоги.

Автоматы в грязи.

Кто уполз. Кто погиб.

Кого снайпер сразил.

И остались лежать сапоги на снегах.

Сапоги.

Сапоги.

Только пусто

В ногах.

Уж давно батальон

Заменяли речами.

И победно «Ура»

Над столом прокричали,

И гниют сапоги где-то в поле ночами.

Только ноги

Мои

Убежали

Ручьями.

Рванул последний аккорд. Гитара тревожно загудела и смолкла. Все молчали.

Вошла мать Славика, сказала мужу:

– Пойдем в кино сходим, а? Я, кажется, тысячу лет в кино не ходила.

– В кино? Можно и в кино. – Поднялся из-за стола. – Что,

молодежь, пойдем?

– Сходите, сходите. Мы посидим, – ответил Родон.

– Пап, так ты к нам пойдешь? – спрашивает Славик. – Ты ведь не ответил.

– Я отвечу, сынок, отвечу, – говорит отец, одеваясь. – Я только подумаю.

– Хватит думать, – вмешивается жена. – Будет ломать голову-то. Давай поживем хоть на старости.

– Да не стар я еще. Не стар! – с силой бьет кулаком по столу. – Я им докажу, что не стар. И эту продукцию их, портянка ее завоняй, – снова кулаком по столу, – одни черепки от нее! Одна упаковочка и осталась. Под суд меня хотели. За черепки. А вот вам! – Повертел кулаком.

– Неужели побили все? – изумился Радон.

– Побил, – с вызовом. – Не все, правда. Все не дали. – Снова присел к столу. – Дали полмесяца сроку. Хоть сам лепи, говорят, а убыток восстанови и задачу свою по реализации выполни.

– И что же вы?

– Да чтобы я чепухой этой занимался? Я?!

– Почему же чепухой? Это государственный план.

– Липа это: кому они нужны, эти идолы? Кому? Только время на них рабочее тратить, да средства.

– А вот вы и не правы. В таком количестве, может, и не нужны, но не нам с вами решать. А вообще, эти, как вы говорите, идолы, часть нашей идеологии.

– Идеология утверждается делами, а не символами.

– Так вы и от знамени откажетесь.

– От знамени?

– А почему нет? Тоже ведь символ.

– Ты мне голову не морочь! Я за знамя это... Я за коммунизм...

– Э-э, батенька, с вами все ясно. Это слово, что вы произнесли, давно следовало забыть.

– Забыть?!

– Забыть. В соизмерении с вашей жизнью и моей жизнью, и его, – кивнул Родон на Славика, – коммунизм – это идиллия. Красивые слова и не больше. Живите, батенька, пока живется. Дышите глубже. А я пошел...

– Куда?!

– Пора. Засиделся. И разговор мне не нравится, опасный разговор.

– Нет, ты сначала ответь?

– Чего еще? – вяло отзывается Родон.

– По-твоему я должен продавать этих кукол?

– Если вам не нравится эта работа – найдите себе другую.

– А кукол все равно продавать будут?

– А может, они нужны кому-нибудь? Почему вы исключаете? Вам никто не мешает, и вы не мешайте. Я уже говорил – живите. Не нравится что-то – не делайте. Но и не кричите о своем желании. Соблюдайте правила игры, дорогой.

– Но ради чего, если все это, как ты говоришь, идиллия?

– Для нас, смертных, это идиллия, но для истории это может что-то и значит.

– Значит, меня всю жизнь обманывали?

– От вас никто ничего не скрывал. Читайте. Слушайте. Анализируйте. Делайте выводы. Для себя.

– Но в чем смысл жизни тогда?

– А жизнь, уважаемый папаша, имеет тот смысл, какой вы сами ей придадите. Хоть бабочек ловите.

– А как же тогда верить?

– Во что верить? Кому? Живите, еще раз, говорю вам. Раз уж не довелось родиться королем банановым или нефтяным, то и живите тихонько, танцуйте среди гипсовых бюстов. И не раздумывайте. Что после вас будет – плевать. Вас не касается. Ваше дело – сориентироваться. Вписаться в закон. Не вписался – лети, дорогой, будто тебя и не было на этой земле. А вписался в норму, в порядок – тут ты бог. Про себя-то ты и начхать можешь на все эти правила. Опять же, как на дороге: не видно инспектора – гони на красный, на желтый, по левой стороне, по правой – лови свое время, дыши свободой. Но появится инспектор, ты уж ему не только аккуратность свою продемонстрируй, а еще и мозги вправь: где это он, дескать, прохлаждался в рабочее время-то. Чтобы не ты его, а он тебя уважал. Понял смысл?

– Т-ты, падла... А на войне как?!

– Стоп! Стоп, папаша. Я знаю, когда что говорить. Опьянели вы уже. Оставим. Идите в кино. Сходите. Завтра пого-

ворим.

– Нечего с тобой говорить.

– Оставь, папа! – крикнул Слава.

– И ты с ним? – повернулся к сыну. – И ты?!

– Не трогайте мальчика. Слава у вас парень хороший.

Сдержанный. Вдумчивый. Он сам решит.

– И без тебя! – выкрикнул отец в лицо Родону.

– И без меня. И без вас, – спокойно парировал Родон.

– Почему без меня?

– А вам некогда о нем думать. Вам, дай Бог, себя обуздать.

– Что я – лошадь?

– А что же вы всю жизнь тянули и не думали, да вдруг опомнились? Задумались. Поздно думать, папаша. От пенсии-то не откажетесь?

– Не трожь мою жизнь. Не тебе в ней копать.

– А сами вы не выкарабкаетесь.

– Тебя не позову.

– Так на похороны не приглашают.

– Что-о?!

– Родон Герасимович... – в молитвенном изумлении сложила руки мать.

– Ты что, Родон, это же отец мой, – прошептал Славик.

– Вон! – Вскинул над головой стул отец. – Подлец!

– Отец!

– Папа!

Но отец вдруг медленно опустил стул и сел на него. Долго

непослушными пальцами расстегивал пуговицы на рубашке. Все от горла до пояса. Откинулся на стуле, плетью свесив руки. Сказал, глядя в потолок:

– А впрочем, ты прав. Судить меня будут. Судить. И надо судить. Люди делали, а я взял и побил.

– Что побил, пап?

– Все. Все я разрушил.

– Ты же говорил, что не все.

– А все хотел. Спросят на суде, и я скажу: все хотел. Так и судите. За все.

– Успокойся, отец, успокойся. Сходим в кино, как решили, и все забудешь, – мать уже хлопотала вокруг него,правляла рубашку, гладила волосы.

– Да, да. Пойдем. Сейчас пойдем. А вы не говорите, куда я ушел. Не говорите. Если придут... Если будут искать...

– Ты что, пап? Ты что?

– Отец?!

– Да-да-да. Сейчас. Сейчас я. Да...

Он дает себя поднять со стула, надеть пиджак. Из кармана пиджака выпала пачка бумаг, рассыпалась по полу веером: квитанции, бланки, счета... Все кинулись собирать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.